



Сергей Е. ДИНОВ

кинороман



**ОБНАЖЁННАЯ НАТУРА
ПРОДАСТ ХУДОЖНИКОВ**

18+

Сергей Динов

**Обнажённая натура
продаст художников**

«Автор»

2022

Динов С. Е.

Обнажённая натура продаст художников / С. Е. Динов —
«Автор», 2022

Из полевого дневника сценариста: "Эта история - хулиганские зарисовки про балбесов, попавших под бандитский замес в 90-XXL". Или вынужденные приключения двух художников, афроамериканца (приёмного сына одного из них) и неудачника-сценариста, обворованных предприимчивой авантюристкой, в которую все четверо были влюблены.

© Динов С. Е., 2022

© Автор, 2022

Содержание

От автора	6
Лоскутное одеяло	8
Отпевание	15
Спокойник	24
Впечатление	29
Чёрный ангел	34
Куку 7 – баба	39
Миф-универсал	43
Сепаратные разговоры	47
Стуки	51
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Сергей Динов

Обнажённая натура продаст художников

Из литературной серии «Дневники 90-х»

Основано на реальных событиях.

По давней литературной традиции стоит предупредить читателя, что все персонажи повествования вымышлены, любое возможное совпадение с реальными людьми совершенно случайно.

К узнаваемой местности вымышленные события не стоит соотносить слишком серьёзно.

«Отряд бросился на бронепоезд, зачумлённый последним страхом, превратившимся в безысходное геройство».

А. Платонов, «Сокровенный человек».

От автора

«Пойду, поймаю образ на перо», М.З.Серб, 1979 г.

Мятая-пермятая «общая» тетрадка в девяносто шесть листов, в коричневой, клеёночной обложке, прошитая грязными суровыми нитками попала к автору повествования не случайно. Досталась по наследству. От друзей. Они и стали прообразами персонажей.

«Хулиганские зарисовки двух авантюристов, попавших под бандитский замес».

Такова была надпись шариковой ручкой на заглавном листе в качестве эпиграфа.

– Доносы карябаешь, борзописец? – как-то спросили Артура, по прозвищу Бальзакер, его друзья по вынужденным приключениям.

– Путевой дневник, – ответил записыватель. – Заверну в пакет. Суну в склеп второго века до нашей эры. Засыплю землей. Вдруг отыщут и кому-то сгодится?

Компания расположилась на брёвнышках перед костром на высоком утёсе побережья азовского моря. Краснокожие, распухшие от пьянства и палящего солнца лица, будто индейские маски, застыли в недоумении перед катаклизмами беспутной жизни. Сутулый, стриженный налысо гуманоид Бальзакер терпеливо водил шариковой ручкой по листочку бумаги. В мерцающем оранжевом отсвете костра близоруко шурился, присматривался к кривым строчкам, терпеливо продолжал бессмысленное, как ему самому казалось, занятие.

– Путевой дневник он ведёт! Ха! Непутёвый ты человек! Кому сдалась твоя дурацкая писанина?! – задирались друзья.

– Потомкам, – с грустью, иронично отвечал Бальзакер.

Некоторые доверенные лица были знакомы с творчеством незадачливого актёра и сценариста... со слов самого писателя. Отпечатанные на пишущей машинке «Юность» листы, исписанные кривым почерком ученические тетрадки, пачками отлеживались в квартире Бальзакера в картонных ящиках из-под конфет и печенья. Писатель никогда, никому ничего не давал читать. Боялся злобных оценок и отзывов, боялся, что украдут сюжеты.

– Не будет у тебя потомков, трусливый, паталогический холостяк.

– Даже самый ничтожный человек – ценный дневник жизни, – философствовал Бальзакер. – Он достоин, чтоб его вспомнили и не должен исчезнуть бесследно.

– Кто? Дневник или человек?

Бальзакер промолчал, продолжал накарябывать в тетрадке путевые заметки.

«Замерший Азов серебрился под луной чешуйками гигантской рыбы, что всплыла в волшебную полночь», – прочитал Точилин через плечо сочинителя.

– О как! Да ты у нас сказочник?! – приятно удивился Точилин.

– Хочется сделать жизнь красивой... хотя бы на бумаге, – мечтательно прошептал Бальзакер.

Через три дня рано утром Артур бесследно исчез. Пошёл окунуться, как он сообщил на прощание. Скорее всего, непризнанный современниками писатель утонул в мутном волнении Азова или странном озере, пугающим своим зеркальным спокойствием, что замерло среди глины и камышей вытянутой каплей метров сто на пятьдесят на утёсовой террасе азовского побережья. По слухам, озеро было метеоритного происхождения. Образовалось миллион лет назад.

90-е годы прошлого столетия было уникальным временем становления бандитского капитализма в России, передела власти, собственности, территории и личности.

Бурные девяностые нынче сидят в креслах двухтысячных. Для вольных художников кресла чиновников и в прошлом, и настоящем ровным счётом ничего не значили. Кресла они считали упокоением для жирных задниц и ненасытных желудков. Период откровенного бан-

дитизма оставался для истинных художников своеобразной эпохой Возрождения к творчеству, в которой, как оказалось, можно зарабатывать приличные средства даже собственным трудом, конечно, если удалось сохранить здоровье и саму жизнь.

Лоскутное одеяло

Сумасшедшая беготня, поездки по оформительским подработкам и «халтурам» закончилась шоком и остановкой дыхания. На одну минуту. Не больше. Но этого было достаточно, чтоб переосмыслить короткий отрезок жизненного пути, когда друзья творили вместе.

С раннего, сопливого детства уют родительского дома Точилин вспоминал, как образ лоскутного одеяла. Сначала бабушка для рождённого внука пошила одеяльце из цветных лоскутков, что бережно хранились годами в комод. Затем мама дошивала лоскутками одеяльце подросшему сыну, пока жизни родителей не оборвались в авиакатастрофе. Тепло уютного лоскутного одеяла Точилин запомнил на всю жизнь. Как же томительно приятно было под ним, согреваясь, засыпать под негромкую музыку кухонного ретранслятора.

Точилин вернулся в столицу из очередной длительной поездки по ближним областям. В артели из пяти человек подзаработал денег на расписывании стен, холлов и фасадов двух районных ДК, трех воинских частей, пяти детских садов и лагерей, санатория для ветеранов.

«Бегущий оформитель», как называл себя сам, Олег Точилин теперь мог бы отоспаться недельку-другую, навестить старых друзей – художников, любовниц и знакомых, поддержать материально, затем вновь ринуться по волнам дикого российского капитализма на заработки начального капитала.

Но случилась остановка. Сердце толкнулось в груди и едва не затихло для инфаркта.

Теперь был существенный повод остановиться в сумасшедшем беге и навестить старого друга: похороны.

Открытку, без картинок, воззваний к праздникам и «красным» датам календаря Точилин обнаружил в переполненном почтовом ящике среди рекламных листовок и вороха разорванной газеты «Экстра-М». Текст на обороте открытки, отпечатанный на пишущей машинке, был кратким: «Третьего июня сего года умер художник Т. Лемков. Прощание с телом 4-ого июня с 10-00. Отпевание в церкви Воскресения, на Ваганьковом кладбище 6 июня, в 11-00. Оркомитет».

«Оркомитет» было отпечатано с ошибкой, без буквы «гэ», видимо, в спешке.

Нынче было пятое июня, половина двенадцатого ночи. Уставший Точилин отдышался, успокоился, решил подъехать к Лемкову в мастерскую на Остоженку ранним утром. Возможно, успеет к выносу тела. Если – нет, к 11 часам можно будет подъехать на такси к Ваганьково.

Неожиданное известие принесло тяжелое отупение. Наступила временная атрофия мозга, эмоциональная пустота. Затем отпустило. Но не грусть, не печаль возникла из пустоты, – растерянность. Подумалось: с чего бы, вроде Лемков не болел? Выпивал, да. Бывали болезненные запои. На неделю, на две. Но выходил всегда достойно, без врачей и капельниц. На воле к жизни. Продолжал работать. Расписывать маслом полотна. Заниматься заказными, искусными подделками мастеров старой академической школы Репина и Рембранта, Эль Греко и Караваджо, Венецианова и Тропинина. Сам Лемков предпочитал всем художникам гениального мастера эпохи Ренессанса Вечеллио Тициана.

Ещё не было бездонной ямы интернета. Не было мобильных телефонов и компьютеров. Из ближнего, необразованного, выпивающего окружения художников никто не знал имени Тициана. Лемков знал. Хотя дата рождения великого мастера затерялась в мутных водах времени. Мало кто знал, что по одной из научных версий, художник прожил более ста лет. Лемков знал. Вечеллио Тициан и его «Даная» были для Тимофея Лемкова вершиной мастерства. Подмастерье подвальной кисти поневоле придерживался «воздушного, изящного» стиля венецианского мастера не только в своих работах, но в подделках под Рубенса, Рембранта, Эль Греко и даже Гойю. За что был неоднократно изобличён экспертами, искусствоведами и бит заказчиками. Кумир Лемкова прожил век. Сам безвестный художник скончался на шестом десятке.

Пятьдесят семь лет – не возраст, чтобы мастеру умереть в подвале даже в такое безумное, сумасшедшее время как «бурные девяностые». Значит, всё ж от безмерного пьянства свернулся Лемков, старый друг, наставник, брат по нищете.

С Тимофеем Лемковым у Точилина были связаны самые насыщенные, эмоциональные годы жизни. Познакомились в олимпийский год. Вместе поступали в Строгановку¹. Вместе бросили унылые академические прорисовки, занудные нотации педагогов и отправились на вольные хлеба. Лемков был на шестнадцать лет старше. Опытный, упёртый человек, мастеровитый художник. Мог подделать любой почерк мастеров прошлого, любой эпохи, будь то Ренессанс или Возрождение. Лемкова не беспокоило, что собственного почерка к шестидесяти годам он так и не приобрел.

Дружили они бескорыстно, безоглядно, беспробудно, как одногодки. Появлялись деньги, – кутили. Напивались вдрызг. Протрезвев, работали «навзрыд», яростно и упорно, по трое суток кряду. Молча. Голодные и злые. Зарабатывали «копейку», как говаривал сам Лемков. Выменивали на водку обрезки оргалита² или воровали с мебельной фабрики. Малевали маслом картинку с примитивными сюжетами: пейзажики с жёлтой, щербатой луной, берёзки у реки, лесную опушку с замшелыми пеньками. Шли на «ура!» цветочки-букетики для домохозяек на кухню, по двадцать штук одного сюжета с глиняным горшочком и васильками.

Рукастый и мастеровой, Тимофей Лемков выстругивал рубаночком рамочки, полировал, подкрашивал в тон картинному сюжету. Продавали творения в подземных переходах, на вещевых рынках, в Битце и на Арбате по криминальному сговору с «решалами» и местной «крышей». Жили. Выживали. Как могли, как получалось.

Пока не пришла Она. Любовь. Страсть. Привязанность. Ненависть. Вновь страсть и привязанность. Причём, к одной и той же. У Лемкова и у Точилина.

Заявилась она к художникам в подвал, в декабре месяце, девяносто седьмого, накануне католического рождества, в компании с двумя дикими, невоспитанными студентами. Пила водку со всеми на равных. Отмечали, кажется, очередной день ангела Тимофея. Эти славные ангелы слетались к Лемкову в подвал по два-три раза в месяц. Художник с радостью всех приветовал. И ангелов, и друзей. Устраивал «грандиозный» повод. Выпить, разумеется. С новыми знакомыми.

И вот явилась Она. Эффектная, энергичная, шумная, вальяжная, неудержимая, неукротимая в своей безумной молодости. В кошачьей шубке, пахнущей фиалками и свежестью морозного вечера. Она принесла в жёлтом пакете «Кэмэл» бутылку «Столичной» и замороженную, хрустящую, розовую ветчину в промасленной упаковке. Такими же розовыми были её припухлые щёки, волнительные влажные губы. Она улыбалась широко и открыто, низким голосом заявила с порога:

– Берлога – отпад! – для видимости приличия спросила, кто хозяин, смело пересела на колени ошалевшего Лемкова. Её наглое, провинциальное коверканье слов, типа, «вид~~а~~ла», а не «видела», вызывало умиление.

Вот она! Наконец-то! Снизойшла в творческий подвал художников крылатая Муза, потрясающая своей волнующей сексуальной откровенностью. Она освоилась в натопленной мастерской, выпила вторую порцию водки из стакана. Отогрелась, порылась в картонном ящике Лемкова с коллекцией затёртых магнитных записей, сунула в раздолбанный кассетник «Панасоник» компакт-кассету и устроила смелый стриптиз под известную композицию Джо Кокера «You can leave your hat on»³. Начала раздевание из полутёмной глубины подвала. У лестнич-

¹ Художественно-промышленная академия имени С.Г.Строганова.

² Оргалит – отделочный, строительный материал, древесно-волоконистая плита.

³ «Можешь остаться только в шляпе» – (вольный перевод с англ.) композиция американского певца Joe Cocker, записана для альбома 1986 года «Cocker».

ного спуска сняла шубку. Вязанный, мохеровый свитер сбросила у обеденного стола. Узкие джинсы стянула у стеллажей с мелкой керамикой. Взобралась на низкий столик и осталась в чёрных колготах и прозрачной маечке-распашонке, открывающий изумительную ямку пупка. При плотной упитанности, фигуру она сохранила великолепную, изящную, достойную полотен Тициана. Лемков поплыл разумом и сознанием. Точилин окаменел.

Оба студента и художники были заморожены эффектным стриптизом в захламлённом пространстве творческого подвала. Ковчега изгоев, как его называл сам Лемков.

Неожиданную посадку её упругих ягодиц на костлявые коленки Лемкова в тот вечер Точилин ещё запомнил. Жутко приревновал, расстроился от смелого, дерзкого, неоправданного, казалось бы, поступка и выбора незнакомки. Проглотил без закуски два стакана огненной жидкости. Начались горячие провалы в памяти. Притихшие студенты неожиданно громко заорали, загалдели, возмущённо и осуждающе, обозлились на свою подругу, которая так нагло предала их компанию. Гостей развезло после второй. Бутылки. Третью студенты выпили без художников у метро. Вернулись в подвал, принялись скандалить. Называли Лемкова «жалким старикашкой», «бездарной мазилой», «вшой совплаката». Эти студентов гулкие вопли, в особенности, воинственная «вошь» разозлила обычно непроницаемого и терпеливого Точилина. Будь он рождён, как художник, в годы «диктатуры пролетарьята», то и сам бы с горячим «совэнтузиазмом» поработал бы на ревтеатр «Синяя блуза», малевал бы плакаты в стиле бунтаря Маяковского. Но услышать вопли про «вошь совплаката» от прыщавых студентиков, – это было невыносимо. Но терпимо. Хотя, как выясняется, невыносимых людей нет, есть узкие двери.

«Интель» Точилин второй десяток лет был верным соратником Лемкова во всех творческих начинаниях, и категорично не согласился с мнением никчемных сопливых чмырей с незаконченным высшим, да ещё техническим.

В начале бурных, студентовых дебатов о добром и вечном, о праведной и несправедливой любви, попытки Точилина возразить наглым пришельцам были вялыми. Они выразились в злобном брюзжании, будто ворчание пса из-под лавки, которого студенты не слышали. Но в тот буйный и неукротимый период жизни, расстроенный и пьяный, Точилин обозлился на весь мир, на всех живущих тварей на земле. На студентов, в частности. На Лемкова, сидящего в обнимку с полуголой гостьей. Обозлился до звона в голове и... внезапно уснул тяжёлым, душным сном непросыхающего алкоголика.

Дребезжание посуды на деревянном столе, сбитом из половых досок «сороковок», харкающие, угрожающие выкрики чужаков так же внезапно пробудили Точилина. Удар бутылкой по голове, что получил Лемков от студента в очках, мгновенно отрезвил обычно сдержанного Точилина. Раненый Лемков наложил на кровоточащий лоб грязное полотенце, снисходительно и криво усмехнулся, поморщился от боли и неумения молодежи культурно спорить на изящные темы. Полуголая Муза вскрикнула при виде крови, обхватила ноги в драных колготках, затаилась в углу продавленного дивана, с удовольствием наблюдала, как самцы устроили схватку за право обладания ей.

Точилин не стал терпеть беспредела гостей, люто возненавидел лупоглазого сутулого студента в круглых очёчках под Леннона⁴. Но при знакомстве, в пост-советской традиции, Точилин окрестил хиппующего студента, за серую шинель, перешитую в длинное пальто, «наследником народовольцев» и навесил кличку Желябыч. С подобных террористов, похоже, и начиналась в 1905 году очередная кровавая катавасия в России.

– Ну-ка, Желябыч, позорный ты мой народоволец, выйдем, подышим на воле! – предложил Точилин, не без труда взял хилое студентово тело на грудь, вытащил наверх по крутой лестнице мастерской во двор и долго елозил его суконной шинелью в колючем снегу сугроба,

⁴ Джон Леннон – британский рок-музыкант, участник легендарной группы The Beatles.

пока не окостенели пальцы ног и рук. Точилин пощадил свои художественные щупальца, не дал обморозиться, но сильно удивился, что Желябыч покорно улёгся в сугроб и перестал шевелиться. Заморозился. Хотя наглого гостя, кажется, по лицу не били. Руками, во всяком случае. Очки оставались на месте. Воинственный Точилин расстроился, что наглый студент сдался без боя, по слабости духа и безволию тела, несвойственной новым народовольцам 90-х, и вернулся в подвал согреться повторной выпивкой.

Второго студента с выпуклым лбом будущего мыслителя пытался урезонить мудрыми советами и высказываниями, цитируя китайского мудреца Конфуция, сам раненый на всю голову Тимофеем Лемковым. В окровавленной чалме из «вафельного»⁵ полотенца, он тихо, назидательно, нравоучительно, почти как сыну, внушал студенту правила «светской и творческой» жизни, склонившись к его вихрастой макушке. Невоспитанный молодняк пошёл отвязный, вовсе не склонный к долгому философствованию. Когда Точилин, жизнерадостный и весёлый, протрезвевший с мороза, свалился обратно в тимофеев подвал по крутой лестнице один, Лобастый потерял терпение от «старпёрского зудежа» и засветил дедушке Тимофею в глаз костлявым кулачком, тем самым, объявил о безоговорочной интеллектуальной капитуляции.

Вдвоём, пьяные художники долго и с удовольствием валяли жилистого Лобастого по бетонному полу пыльного подвала, обрушили стеллажи с керамикой. В апофеоз схватки с кандалным тарактением цепей, упала дерущимся на головы люстра, сложенная хозяином мастерской из колеса крестьянской телеги. Точилин с Лемковым замерли, удивились, вроде борьбы на потолке не было. Лобастый, к тому времени, похрустел костями и затих. Друзья-художники легко оттащили его во двор, вышвырнули тело в сугроб, где ковырял берлогу снеговик Желябыч.

Вернулись в мастерскую, замерли в приятном ужасе. Гостья разделась донага, лежала гладкая, розовая, почти керамическая на старом, чёрном, продавленном диване среди полного погрома и нагло заявила, что остается здесь жить. Согласилась позировать задарма, вернее, за корм. Назвала художников потрясающими мужиками и неистовыми творцами.

Старик Лемков, разумеется, тут же забыл о ранах и увечьях, принялся хвастать своими произведениями, что хранились в подвале на стеллажах. Он расставил полотна по разгромленному периметру мастерской.

– Потрясающе! – завопила ценительница живописи. – Эпоха Возрождения нашей сраной Родины! Берите моё тело, мазилы! Берите! Пользуйтесь! Оставьте при себе! Сохраните мою красоту! Сохраните на все времена! Вы сможете! Я – верю! – завывала она спяну. – Сохраните! Спасите, прошу! Погибаю.

Без сомнений, Муза была жутко хорошо сложена, вылеплена из нежного розового мяса по сдержанному образцу художника Кустодиева. Что называется, была в теле, но в самую идеальную меру. Для Тимофея Лемкова, но не для Олега Точилина. Художнику-авангардисту, каковым он себя мнил, нравились в те времена сухопарые девицы, с тугими сиськами и острыми сосками. Худосочные стервозины были более, как ему казалось, запальчивей, неудержимей в любви.

Она была другая. Горячая и томная, по имени Тома, сочная, обмякшая в тепле и относительной сытости, пошлая до умопомрачения. После её революционного воззвания ко взятию тела, более молодой Точилин растерялся и возненавидел гостью, узрев возможную причину будущего раздора с лучшим другом. И не ошибся.

– Да-на-я! Да-на-я! – шептал восторженный Лемков, возвеличивая образ наглой гостьи до своего кумира Тициана и его непревзойдённого шедевра. Раздельное произношение слов «Да-

⁵ Материя вовсе не из теста, из которого выпекают вафли. Хлопчатобумажная ткань с характерным, рельефным «клеточным» рисунком.

на-я» показалось возмущённому Точилину верхом пошлости и безволия со стороны старого друга, будто он предлагал себя самого по частям этой мерзкой, обворожительной самке.

Лемков кинулся в горячий омут с головой и поплыл сознанием сразу и бесповоротно. От переизбытка чувств и нежности он обезумел, бросился перед своей Данаей на колени и начал нести несусветную чушь, околесицу и ахиною об истинном вдохновении, о музе во плоти, снизошедшей с небес в его «ковчег изгоев».

Они возомнили себя пробулгаковскими Мастером и Маргаритой. Читали и перечитывали по вечерам по очереди главы нетленного романа. Играли в эту примитивную игру года два с лишним. Точилину отвели роль Бегемота. Страдающему коту не было отказано в посещении жилища Мастера. Он даже мог припадать к стопам красавицы Маргариты, пока Мастер не приревновал. Лемков стал обидчивым, занудливым по отношению к соратнику по живописи, несносным в необоснованных упрёках, придирках, старческом брюзжании и высокопарных нотациях.

Несчастному Точилину пришлось с позором покинуть «ковчег изгоев» на долгие года, быть себе в одиночестве, будто безумному котяре, которого посадили на горячую крышу небоскрёба, куда не только кошки не забредают, но даже птицы не могут долететь. Месяца три Точилин стонал от зелёной зависти к необъяснимой идиллии, откровенному разврату, который царил в подвальной мастерской Лемкова, пока не успокоился на дорогом заказе по оформлению молодёжного кафе на Арбате.

Лемкову в текущем году исполнилось бы пятьдесят семь лет. Значит, в то памятное время ему было пятьдесят три-пятьдесят четыре. Бегемот, то бишь, Олег Точилин, ушёл, убрался, сбежал, как более молодой, подвижный и неуспокоенный. Уступил старшему брату, другу, наставнику, Мастеру всё ЭТО, телесное и бездуховное богатство. Сочное, томное, развратное. Уступил большую гадкую любовь, которая, хотя и выпадает раз в жизни, но ведёт порой к полной деградации и окончательному обнищанию духа и плоти.

В бурную ночь их знакомства с новоявленной Маргаритой, которую Лемков ещё к тому же необдуманно нарёк царицей Тамарой, Точилин мужественно покинул творческую берлогу, разумеется, без объяснений. Подвал-мастерская принадлежал, ныне покойному, отцу Тимофея, известному московскому авангардисту. Преоритет на владение мастерской, как говорится, был на лице двойной. Пришлым оставаться дольше не позволялось.

Надо признаться, по пьянке, с дикой обиды Точилин однажды зимой не выдержал грустного одиночества, любовного фиаско и крепко похулиганил в жилище Мастера. Пьяный, разбушевавшийся Бегемот, прервал сеанс позирования, выгнал не менее пьяную Маргариту голой из подвала на талый снег апреля, швырнул ей вместо половой щетки, не по Булгакову, – швабру и приказал убираться ко всем чертям и не разрушать их дружеского, мужского, творческого содружества.

– Йока погубила Леннона! Развалила Битлов! – ни к месту заорал разъярённый Точилин, вспомнив задиристого студентика в круглых очёчках, бывшего обладателя тела грандиозной разлучницы.

Смиренный, предельно спокойный Тимофей Лемков выбрался следом из полутёмного подвала в ослепительное снежное пространство в чёрных, ломаных зигзагов голых деревьев, вынес для своей обнажённой, посиневшей Маргариты деревенские валенки, укрыл её плечи байковым, детским розовым одеяльцем, вежливо обратился к бывшему соратнику по творчеству со словами упрёка в окончательном разрушении старой дружбы. Лемков терпеливо пояснил, что ему, умирающему от «страшной, кровоточащей язвы», на год, быть может, на два, от силы, выпало, наконец, «великое» счастье сполна насладиться вдохновением, духовным и телесным. Тимофей вежливо попросил бывшего друга убраться «к Че!», снисходительно похлопал его по плечу. Так и выразился: убраться к Че! Кого Лемков имел в виду, – не важно. Важна обида, нанесённая старому товарищу, коллеге, соратнику по борьбе за творчество и выживание.

– Извини, старичок, – ехидно проворчал подлый победитель Лемков. – Она предпочла меня, ветхого брюнета. Прощай.

Бегемот оказался старичком, неполных тридцати восьми лет.

Знакомый бард из Омска хрипел в это же время из мутного подвала Лемкова рваными динамиками магнитофона «Яуза»: «Я не созрел ещё для самых юных женщин».

Как выяснилось через пару дней после вторжения в подвал Лемкова, Тамара Михайловна Полетаева, так именовали по паспорту разлучницу, оказалась беременной, на втором месяце. Вероятно, от очкарика Желябыча. Лемковской многоликой Музе, Маргарите, Данае, царевне Тамаре в то время шёл двадцать третий год. Заботливый Лемков вился, кудахтал над своей возлюбленной месяцев шесть, пока не случился выкидыш. Ещё год наглая Муза высасывала из художника деньги, талант, здоровье. Лемков был безумно в неё влюблен. Безумно! Не подпускал никого из бывших знакомых к мастерской ближе линии телефонной связи.

Даже рассказывая о ней в трубку много позже, Лемков задыхался хроническим астматиком от вожделения и чувств, старчески хлюпал носом, вскрикивал от восхищения пережитыми «высокими» отношениями. Уровень дивана для позирования и пересыпа с возлюбленной обезумевший от любви Лемков считал «высокими отношениями».

Маргаритова Тамара исчезла так же внезапно, как и появилась. В мастерской Лемкова её не стало после очередной пьянки. Исчезла. Ушла. Скрылась в тумане воображения и опохмела. Никто из сопитейников Лемкова не смог вспомнить, куда и с кем.

Кто же первым пришёл утешать друга?! Конечно же, гонимый и презренный Бегемот. Лемков и Точилин даже выпивать не стали. Посвятили трезвую ночь воспоминаниям их беззаветной дружбы.

– Сомневаюсь, что полетела к Воланду, – грустно пошутил Лемков на последней попойке перед долгим расставанием, – но Азazelло тут намерен заходить, пропахший дорогим парфюмом и кремами. Обещал ей всяческие волшебные превращения. Был он в крахмальном белье, в добротном костюме, в лакированных туфлях. Котелка на голове, правда, не было. Но *галстук* был весьма приметным, ярким. Жёлтого цвета. Удивительно, что из кармашка, где обычно носят платочек или самопишущее перо, у этого гражданина торчала обглоданная куриная кость.

Подвыпивший старый друг обглаживал варёную курицу, бредил от горя и целыми кусками цитировал неувядаемый роман Булгакова.

Лемков запил месяца на два беспробудно. Говорят, попутно заработал два микроинсульта. Отлежался полгода по больницам и госпиталям, превратился в отшельника и молчуна, но выпивать не перестал. Писал картины, записывал чужие, старинные холсты ожесточённо, с потрясающей энергией и быстротой. Подготавливал «малых и больших голландцев»⁶ к подделкам под Рубинса и Тициана. Сворачивал полотна в рулоны, так хранил. Никому и никогда не показывал своих творений.

Что касается самого Олега Точилина, коварная Тамара оставила заметный след и в его творчестве. Обманывая себя, обманывая бывшего соратника Лемкова, что ему безразлична эта похотливая, гадкая самка, Точилин тайно поджидал, встречал её по вечерам во дворе мастерской старинного своего друга, когда она возвращалась с учёбы. Подлому Точилину удавалось порой заманить в коммуналку на пять хозяев в Даевом переулке эту блудливую, наглую тварь, полнеющую на глазах в своей волнующей беременности. Он писал её, обнажённую, с натуры. Она откровенно издевалась, куражилась над его страданиями, дико хохотала во след, когда Точилин после сеанса позирования, пока она одевалась, скрывался в общем, коммунальном туалете. Требовала с него деньги. Немалые. Он платил. Платил за лицезрение возлюбленной. Сколько было на тот момент денег, столько и отдавал. Даже в иноземных долларах. И ни

⁶ Принятое название голландских художников XVII века, писавших большие и малые, тщательно отделанные картины.

разу не дождался благодарности, ни устной, ни письменной. Несчастный Точилин по ночам был в своей коммуналке в грязную подушку от бессильной злобы, похоти и зависти, напивался в одиночестве и не мог утолить своего бешенства ни с одной, будь то прыщавая тощая девица из студенток или замужняя, располневшая торговка с ближайшего рынка на Сухаревке.

И вот эпилог – скромная почтовая открытка. «Прощание с телом...» С этой фразой Олегу Точилину вспомнился не старый добрый товарищ Тимофей Лемков. К ужасу своему, он вдруг разволновался, будто впервые увидел ЕЁ, похотливую, откровенную, наглую обнажённость в унылой черноте стылого, сырого, вонючего подвала мастерской, «ковчег изгоев».

Однако, на этом свете не стало художника, наставника и друга. Известие это, к стыду Точилина, не принесло ему ни светлой грусти, ни печали. Наполнило его тело с ног до головы волнующими воспоминаниями безоглядной жизни двух придурков, мнящими себя художниками.

Отпевание

Из чувства справедливости и отмщения самому себе, что не переживал, как следует, при известии о кончине друга, Точилин принялся судорожно, в третьем часу ночи собираться к Лемкову, вернее, в его подвал. Приоделся. Новая, не белая, но серая рубашка, чёрный галстук, – почти всё, как положено. На похоронах Мастера хотелось выглядеть торжественно и цивильно.

К тому времени Точилин подработал «приличную копейку», как говаривал сам Лемков. Денег хватило на квартирку, в две смежные комнатки, в старой трехэтажке сталинских времен, в районе метро «Текстильщики». Появилась так же пара выходных костюмов, тёмный и светлый. Тёмный, с широкими, не по моде, лацканами он и напялил в ту трагическую ночь.

Для умеренно выпивающего художника, что превратился в подмастерье дизайнера по оформлению столичных витрин, согласитесь, довольно большой достаток: два костюма и квартира. Точилин сумел остановиться на грани среднего прозябания, не пропить ни больше, ни меньше. К сорока годам обрёл тупое, безрадостное равновесие серой, бессмысленной жизни.

Теперь равновесие было нарушено. Впечатлительный Точилин покачнулся в грустных чувствах и воспоминаниях, но устоял.

К трём часам ночи он решил добраться за двести рублей на такси до Остоженки. В то время за две сотни ещё можно было ночью добраться на такси от Текстильщиков в «центр».

Но в своей грусти и печали он не доехал до пункта назначения, притормозил работу-частника на «москвиче-412» у метро «Парк Культуры». Лето было нежаркое. Пыльное, томительное, заторможенное. Хотелось прогуляться, проветриться.

Светало. На чёрных крышах домов лежала кисть сирени в полнеба. Сиреневый рассвет художник запомнил надолго, как последний день их безмятежной, сумбурной жизни.

Чёрные переулки древней Москвы с некрашенными фасадами домов, с паклей зелени неухоженных деревьев напоминали декорации к фильму о советских временах, когда ждали перемен и дождались.

По мере приближения к дому с подвальной мастерской Лемкова, Точилин разволновался перед встречей с умершим другом и ощутил растущее чувство тревоги. Фасады старинных домов Остоженки с чёрными, провальными глазницами окон в окружении чёрных ветвистых деревьев уже казались мерзкими, гигантскими пауками, что притаились перед нападением на жертву.

Минут через пятнадцать Точилин стукнул кулаком в ржавую железную дверь с кривой надписью синим кобальтом по диагонали – «Лемке-П».

Прадед Тимофея был из обрусевших немцев с фамилией Лемке. Советская история семьи умалчивает, изменил ли фамилию на Лемков сам отец Тимофея во спасение от известных сталинских ужасов. Или же сынуля, при очередной смене паспорта, сам поимел фамилию Лемков. Ближнему кругу друзей было известно, что художнику хотелось осуществить мечту всей своей жалкой жизни и стать... евреем. Укатить навсегда на земли обетованные к самому Мёртвому, из всех живых на свете морей. Что ж тут поделать? Была и такая несбыточная мечта у человека и художника Тимофея Лемкова. Стать евреем. Обрести свою землю обетованную.

Синяя надпись широкой малярной кистью на входной двери в подвал была сделана давным-давно, самой Тамарой, в первые дни их сожительства. Написанное рукой свой возлюбленной, Тимофей сохранял все эти годы. Ржавеющую дверь принципиально не красил. Почему была приписана к фамилии Лемков буква «Пэ», и что это могло означать, никто так и не узнал. Даже сам хозяин подвала.

Стучался, грохотал Точилин кулаком в холодный, гулкий металл двери довольно долго. Минут десять. Расстроился, что тело старого друга могли уже вынести на погост. И творческий

подвал осиротел. Навсегда. Оставалась крохотная надежда, что на ночь определили грешное тело художника в кладбищенскую церковь. Как и было написано на открытке: «Отпевание – в церкви Воскресения».

Грохот по железу от кулака Точилина затихающим эхом долго звучал по всему подвалу. По размеру подвальная мастерская была в половину старого жилого, пятиэтажного дома. Точилин было смирился с неизбежностью, собирался возвращаться в Текстильщики, но заприметил, будто сверкнул чей-то вытаращенный белок глаза в дырку, неаккуратно прожжённую электросваркой в железе под наблюдательный «глазок».

– Кто ж там зырит, такой наглый и молчаливый?! – выкрикнул в раздражении злобный и уставший Точилин. – Открывай, зараза! Дай попрощаться с другом!

У самого Точилина затылок съёжился от робости и страха. Не любитель он был мистических явлений. Вдруг, – подумалось, – сам покойник в дырку подсматривает. Тьфу ты! Напасть булгаковская!

– И кто ж это будет снаружи? – ответили вопросом на вопрос издевательским тенорком снизу, но сначала послышался шорох подошв, словно специально сбежали вниз по лестнице и поднялись вновь к ближе двери.

– Свой. Точила. К Тимофею.

– Перестаньте такое сказать: свой! – издевались хриплым тенорком. – Всех своих постреляли в тридцать седьмом! Какой-то буйный мужчинка колотится до моего помещения, и я желаю понять, кто это могёт быть!

– Твоего?! – озлобился Точилин. – Твоего помещения?! Открывай, придурок! Он ещё будет выёживаться и выяснять, кто пришёл! Сказано: свой! Открывай!

– Ой-ой-ой, кто бы такое говорил?! Узнаю! Никак предатель Точил Точилич?! Не он ли приревновал и бросил друга погибать с безумной и ненасытной тёткой?! Уходи, иуда! Теперя я буду новым хозяином в этом прекрасном подвальном местечке! – взвыли, придурясь, за дверью, меняя голос на фальцет. Но стукнул отпираемый железный засов.

– Шутю, Точила, шутю, – сказали опять хриплым и наглым тенорком прямо в дырку, для чего сложили бледные губы трубочкой. – Не делайте на меня такую лимонную морду!

Скрипучую железную плиту двери открыл сильно нетрезвый Артур со смешной фамилией Ягодкин. Бывший актёр театра... и кино, как он сам добавлял, представляясь, – нынче автор, пишущий окололитературную чушь и ахиною, которую никто не издаёт и не читает. В общем, известный в узких кругах выпивоха, тихий шизофреник, их общий с Лемковым знакомый, рыжий клоун по жизни – Артур Ягодкин. Открыв дверь, шутник успел отступить, спуститься вниз, в подвал, по крутой лестнице в двадцать две ступени. Этот факт Точилин совершенно точно запомнил, особенно, когда не раз приходилось выбираться из мастерской во двор на четвереньках по срочной надобности.

– Здрас-сте! Шоб ви сдохли, но остались здоровы! – раздался сочный актёрский тенорок из полумрака штольни крутой лестницы. В кирпичных выщерблинах стен красиво метались огоньки оплывающих свечей, свисали трагические сопли стеарина. Похоже, сам Ягодкин украсил вход в жилище и мастерскую Лемкова таким впечатляющим свечным дизайном.

– Ах, шоб ви сами сдохли, Бальзакер, со своими дурацкими шуточками, – недовольно откликнулся Точилин.

– Изя, щё ви такой огорчённый?! – куражился пьяный Артур.

Олегова мама с папашей назвали первенца сначала Юрий. Романтическая мама Точилина имела от рождения девичью фамилию Лопухина. Да-да, мама приходилась дальней-предальней родственницей светской красавице умирающей монархической эпохи Варваре Лопухиной. После тяжёлой беременности и «кесаревых» родов, мама Точилина зачиталась славянской историей и придумала переназвать сына в честь Вещего Олега. Ни Вещим, ни толком Олегом

вольный художник так и не стал. Друзья и коллеги звали его по фамилии или сокращенно – «Точила». Творческий псевдоним у Точилина был – Точил, с ударением на букву «о».

– Изя, щё же вы не проходите *внизу*? – продолжал наглеть Артур.

Возмущённому, уставшему, продрогшему от предутренней свежести, художнику Точи-лину за еврейское имя Изя в таком неподходящем для шуток месте захотелось сразу закатать весельчаку в глаз.

– Бальзакер, совесть у тебя есть? – сдержанно спросил он. – Первое. Почему не отпирал полчаса на все мои грохотания?! Второе, почему так разорался, на ночь глядя?! Жильцы щас ментов вызовут! А тут, как я понимаю, поминки, требующие тишины, почтения и уныния?!

Когда Артур был в подпитии или при деньгах, он мнил себя одесситом. Хотя в известном городе у моря никогда не был, но безуспешно мечтал попасть. Если учесть, что Ягодкин при деньгах бывал крайне редко, то и одесситом ему удавалось прикидываться примерно раз в полгода. Он доставал любую компанию своими проодесскими приколами и пресными шуточками.

Когда ему хорошо от выпитого, Ягодкин перекрикивал галдящих, подвыпивших собу-тыльников, если его просили сдвинуться с места:

– Не трогайте меня за тут, у меня вся тела усталая!

Когда возмущался, орал:

– Умираю-таки за вас, сволочи, как это всё тухло и кисло!

Если в чём-то сомневался, зудел:

– Послушайте, Жоржик, а по мне так это надо, такое расстройство организма?

Расхожих штампов у Артурика Ягодкина было великое множество. Он искренне любил этот замечательный город у моря, красавицу Одессу, в котором, напомним, никогда не был. Особо искусно Артур декламировал по пьянке «Гарики» Игоря Губермана, за это получил неуместное прозвище Бальзакер.

– На поминки пожаловали, мусью Точил? – нагло уточнил Артур из тёмного подземелья. Бальзакер помнил творческий псевдоним Точилина. Не переставал, при случае, издеваться. Хрипло и трагически прозвучал его голос, будто из могильного склепа. Он тоже никогда не называл Точилина по имени.

– Понимаю, – куражился Артур. – Опять стою, понутив плечи, не отводя застывших глаз: как вкус у смерти безупречен в отборе лучших среди нас.

Точилин правильно предполагал, что «Гарики» Бальзакер наизусть не знал, но повторял на каждый особый случай, чтобы казаться эрудитом.

– Тело ещё здесь? – спросил Точилин.

– В унылом подвале тела два. И одна душа. Моя. Проходи, ненужный странник.

Артур торжественно взошёл, поднялся по крутой лестнице, трепетно освещённой огонь-ками свечных огарков в нишах щербатой кирпичной стенки, запер за поздним гостем дверь на тяжёлый засов. Пока Точилин привыкал к желтоватому полумраку, говорливый не в меру Бальзакер опередил его, спустился вниз по лестнице и с пафосом позвал из темноты залы «ков-чега изгоев»:

– Входи, пигмей! Устами подлеца проси прощения пиита. С концом бежал он до конца. Без новомодства трансвестита... Откровение Арта. Часть третья! Приход, – завершил Артур свою нелепую тираду, продолжая нести несусветные и корявые свои экзерсисы. Отшельнику и нищелблуду, непризанному автору и писателю, бывшему актёру Артуру Ягодкину иногда хотелось, быть может, выговориться, но не в таком же траурном месте блистать своим эрудиз-мом на грани цинизма?!

– Что эт ты развеселился, Бальзакер?! Слушателя нашёл? Замолчи! – обозлился Точилин, оступился с нижней сколотой ступеньки, подвернул левую ногу в щиколотке, ругнулся. – Как тут ходят в таком мраке?

– Ногами, – последовал мрачный ответ.

Подвальная сырость пробила впечатлительного Точилина отвратительным ознобом. Затхлый запах тряпичного склада, мышей и влажной плесени не позволял отдышаться после приятной прогулки переулками старой Москвы. В могильном полумраке он разнервничался. Когда глаза привыкли к сумраку, всё в нём завибрировало от тихого ужаса. Горло задёргалось в сдержанных рыданиях. Точилин, наконец, осознал, что пришёл поминать умершего друга.

На широкой, из двух половых досок, лавке, что выполняла у Тимофея Лемкова роль обеденного стола, величественно громоздился зелёный эмалированный таз с горой несусветной снеди. Перед тазом горели две толстые, жёлтые от старости, стеариновые свечи. Валялись на разодранных, промокших газетах куски чёрного и белого хлеба, а может, и сыра. Стояли пустые и полные бутылки водки, будто огненные снаряды при орудийной батарее. Громоздилось целое войско желтеющих пластиковых стаканчиков, некоторые были повержены, раздавлены, изувечены.

Приближаясь к месту поминальной трапезы, оробевший, присмиревший, Точилин заметил крохотный огненный мотылёк, что нервно метался над сложенными руками покойника. Точилин тихо пролил слёзы, горячие, волнующие, тихие слёзы печали. Всклипнув, затих, чтобы не выказать свою слабость перед циничным Артуром.

Тимофей Лемков лежал на продавленном диване в жалкой позе усопшего вечного студента, в растянутом свитере, в драных, потёртых джинсах, перепачканных масляными красками. Тонкая прозрачная церковная свечечка удерживалась в корявых переплетениях пальцев рук почившего, что были сложены молитвенно на груди. Неопрятная борода художника топорщилась к потолку высохшими клочьями пакли. Словом, душераздирающая была и скорбная картина.

Точилин, разумеется, даже в полутьме узнал бы Тимофея по его горбатому, «ахматовскому» тонкому носу и бороде лопатой.

– Налить? – спросил Артур и тут же грубо ответил сам, в обиду, что не оценили его ораторское искусство:

– Естественно, налить. Тоже... выжрать, небось, пришёл. Зачем приходят на поминки? Пожрать и выпить. Нахалюву.

Бальзакер лихо уселся верхом на табурет перед лавкой, покачался на двух шатких ножках. Разлил из очередной бутылки остатки водки в три пластиковых стаканчика, хрустнул, скрутил крышку, откупорил еще бутылку. Долил в каждый стакан. Один накрыл кусочком чёрного хлеба. Некоторое время тупо созерцал эту траурную ёмкость.

– Не понял?! – громко возмутился он. – Это я, что ли, подлец, из покойнического стакана водку дрызгаю? Нехорошо. Плохо. Плохая примета. Одна примета хороша: не вернуться с антраша! Не так ли, *подподручник* Точил?! Нда. И вот как тут бросишь пить, если даже покойнику наливают?! Традиция.

– Один тут, Бальзакер? – с неприязнью спросил Точилин.

– Вдвоём.

– Кто ещё? – Точилин оглянулся на всякий случай.

– Вдвоём с собою, дорогим и обожаемым, – ответил Артур.

– Выпиваешь один?

– Ну.

– Что – «ну»? «Ну» – да, или «ну» – нет?! – прошипел Точилин. – Достал своими приколами!

– Не надо орать, милый друг! – тихо возмутился Артур и продекламировал под Шекспира:

– Звезда Арктур с повинною клонилась к горизонту. Закат уж близок нашей грустной жизни. Проходи, садись, напейся, пилигрим! Молча. У меня получается. На поминках, я понимаю, – молчат. С душой усопшего нужно говорить молча.

– Скотина! Значит, это ты! – обозлился уставший Точилин, на наглого, освоившегося в чужом доме Артура. – Это ты дрызгаешь водку даже из Тимошиного стакана!

– Почему сразу скотина? – шёпотом спросил Артур, сник, жалкий и скорбный, сгорбился, не переставая при этом покачиваться на ножках табуретки. – Ска-а-атина сразу! Умный нашёлся!

– А потому, – сдержанно бушевал Точилин. – Ведёшь себя, Бальзакер, по-хамски! В мастерскую не впускаешь! Нажрался, хрюн позорный! Хозяин выискался! Видишь, мой друг лежит!.. такой... такой неподвижный. Вот и води себя пристойно, уродец.

– Молитву что ль завывать? – возмутился Артур и заблеял:

– Еже си на небеси! Прими душу раба твоего Тимофе-е-ея!

– Помолчи, урод! Щас в белок заработаешь! – разозлился Точилин. – Зырил он в дырку!

– Омэн! – прошептал Артур, обиженно подоткнул пальцем к гостю поближе стаканчик, мол, выпей и угомонись.

В огромном, эмалированном тазике с обитыми, чёрными краями, что стоял по центру лавки, было навалено, казалось, всё, что можно было найти съестного в мастерской Тимофея. Солёная и квашеная капуста была разложена отдельными прядями. Огурцы, свежие и солёные, – насыпаны в навал. Шматки яблок, нарезанные дольками, почерневшие, были присыпаны сизыми дольками маринованного чеснока. Перемятые перья зелёного лука выглядели оторванными крыльями птиц. Дополняли съестное убранство мерзкие, скользкие, длинные чёрные макароны черемши, будто стебли водорослей.

– Давай, шизоид, помянем друга нашего Тимофея, – Точилин поднял стаканчик, осмотрелся в полутёмном подвале, удивляясь гулкой пустоте мастерской. При жизни хозяина это подвальное помещение всегда хранило невероятный бардак, беспорядок и наполненность. – Доброй души был человек.

– Шизоид, – обиделся Артур. – Чё сразу – шизоид?! Чё ты ваще борзеешь, Точила?! Подраться, что ль, с тобой?! Нет, позже. Сейчас я не в силах. Почему это помянем друга, а не самого Тимофея?! Тебя что ли поминать будем?! Или меня?! Почему друга-то Тимофея?! – куражился пьяный Артур.

– Достал ты, Бальзакер! Помолчать можно?! Несёшь бред! Причём тут ты, пропойца?! Повторяю для идиотов! Давай помянем моего друга Тимофея Лемкова! Художника и человека с большой буквы... «Пэ»! – неожиданно вырвалось у Точилина. Некстати он вспомнил надпись на двери подвала. Бальзакеру это дало повод продолжить пьяный кураж.

– Почему «Пэ», а не «Тэ» или, скажем, «Лэ»?! – допытывался Артем с занудством и упёртостью пьяного человека.

– Заколебал! Потому что его любимая «Тэ» написала красками на двери «Пэ»! Вот такая загадка на века! Замолкни, прошу тебя по-хорошему. За-мол-кни. Дай осознать кончину друга.

Точилин потерял терпение, но вместо того, чтобы врезать Артуру по уху, как сильно этого хотелось, опрокинул в себя жгучую водку.

Артур тоже выпил. Точилин вновь огляделся по сторонам, после выпитого согрелся. Глаза полностью привыкли к темноте. Он, наконец, разглядел «великую и угнетающую пустоту». Вечно заваленная самым невероятным хламом: тряпьем, подрамниками, холстами и, разумеется, пьяными телами, – мастерская Тимофея нынче напоминала мрачное складское помещение, со стеллажей которого сняли и увезли весь товар, а потом ещё и начисто вымели пол.

– Нормально. Он собирался переезжать? – спросил Точилин.

– Переезжать? Не знаю, – промычал Артур. – Наверно. Я один тут, с ним, – он кивнул в сторону Лемкова, – со вчерашнего дня. Нет, с позавчерашнего... С третьего.

– Как с третьего?! Сегодня пятое. Вернее, уже шестое. Почти... четыре часа ночи.

– О как! – искренне удивился Артур. – Выходит, трое суток тут валяюсь... в окурках.

– В окурках каких-то... Двое, если на то пошло.

– Что пошло?

– Двое с половиной суток, говорю, если с третьего, – уточнил Точилин, хотя с арифметикой и у него было в эту ночь плохо.

– Повтори, – не понял Артур.

– Никто больше не приходил?! – проворчал Точилин. – Только ты? И всё?!

– Не приходил.

– Во, дела! И даже его бывшая и дочь?

– И даже бывшая дочь, – отозвался из полумрака Артур. Его лица не было видно. Бликовали от огоньков свечей белки его глаз. Маячил длинноволосый мальчишеский силуэт головы. – Чё им здесь делать? Всё повиносили, андеграунды.

– Во, дела, – прошептал Точилин, залпом махнул ещё полстакана налитой водки. Обо-жгло горло. Томительно разлилось в груди блаженное тепло двойной дозы. Теперь можно было снова стать добрым, сдержанным, благоразумным. Опыанел Точилин мгновенно. Давно не выпивал. Не с кем было. Без закуски, от усталости, переживаний и недосыпа, опьянеешь, поди. Занюхал выпитое маринованной чесночиной. Полегчало на душе и в желудке. Вот ведь так и получается в жизни, что самые добрые и самые жестокие люди – пьяницы! Да-да. Горькие пьяницы.

– Повторили, – предложил Артур, вновь набулькал водки в стаканчик.

– Был человек и – нет, – с неподдельной горечью в голосе прошептал Точилин. – Беда!

– Был художник и – нет, – вяло передразнил Артур. – Только не надо!.. Не надо пустого ля-ля и детских соплей.

– Кто вывез-то всё? – вместо возобновления ссоры спросил Точилин. У него не осталось сил дольше злиться и ругаться, хотелось примирения, успокоения и сна, хотя бы пару часов. Беготня в командировке, короткие пересыпы в убогих гостиничках, где договаривались о дальнейшей художнической халтуре по областным и районным ДК, вымотали его окончательно.

– Кто ж его знает? Может все, понемногу.

– Странно! Казалось, у Тимофея множество друзей. Как не придёшь, – целая толпа гужует, пасётся, пьянствует, валяется по лавкам и стеллажам.

– Какие друзья?! Прохожане. Придут с выпивкой. Хозяину нальют стаканчик. Съедят свою же жратву. Выгребут всё из холодильника. Выпьют свою же водку, портвейн, вино. Побазарят обо всём и ни о чём, что-нибудь своруют и – разойдутся. Могут, конечно, морды друг другу побить. Могут и не побить. Сам так делал не единожды. Нет, настоящих друзей у Лемкова нет. И никогда не было.

– Есть, – уверенно возразил Точилин. – И было.

– Нет, – упёрся Артур, – у художника не может быть друзей. Коллеги. Собутыльники. Приживалки. Товарищи. Но друзей – нет.

– Откуда тебе знать о мужской дружбе, отщепенец?! – отмахнулся Точилин. – Был у него друг и остался – я! Только вот баба нас развела.

– Во-о-от! – протянул Артур. – Тост. Выпьем, чтоб им пусто было!

– Кому?!

– Алабабам!

– Выпьем, – согласился Точилин.

– Кто ищет истину, держись

У парадокса на краю;

вот женщины: дают нам жизнь,

а после жить нам не дают, – продекламировал Артур.

– Хватит! – потребовал Точилин. – Или помолчи, Бальзакер, или говори от себя. Губермана интересней читать, а не слушать в твоём скрипучем исполнении. Своё пора сочинять.

– Сочиняю, – обиделся Артур и замолк ненадолго.

Они сидели в жёлтом сумраке, будто в могильном склепе, на шатких, самодельных табуретах перед низкой лавкой, заменяющей поминальный стол. Беспокойные огоньки колыхались перед ними в толстых оплывших свечных огарках. Теплился трогательный огненный мотылёк над сложенными накрест руками Тимофея. Не поворачивался язык называть Лемкова покойником.

– Может, свет зажечь, – предложил Точилин. – Жуткий мрак! Давит. Настольная лампа у него была.

– Была, – согласился Артур, – разбилась. И люстра из телеги была. Разбилась. И жизнь. Художника и человека. Разбилась. Пусть спит. Спи спокойно, дорогой товарищ. Выпьем. За скромного, замечательного художника. Умер.

– Давай.

После очередной порции водки Точилин впал в ностальгию. Кривил губы, вытирал слюни, пытался заплакать от жалости... к самому себе. Он почувствовал себя жутко одиноким. С потерей Тимофея Лемкова, друга, наставника, соратника по творчеству, Точилин потерял нечто собственное, кусок жизни, который принадлежал им обоим. Из души Точилин этот кусок выдрали с мясом. Оказалось, – больно.

– Никто-никто больше не приходил? – не унимался расстроенный Точилин. Не хотелось верить, что у такого добрейшего человека, каким был Тимофей Лемков, не осталось ни друзей, ни знакомых, ни коллег, ни товарищей, которые могли бы прийти, помянуть, похоронить.

– Никто и ничто, – отозвался Артур. – Ни больше, ни меньше.

– И даже некому?..

– Некому, – отрезал Артур. – Сами зароем.

– Какой же ты урод, Бальзакер! Зароем... Открытки кому-то ещё посылали?

– Наверно.

– Сам-то получил?

– Получил. Третьего дня, утром. Орг-к-комитет.

– В Мытищах и то – получил. Странно, – не переставал удивляться Точилин. – Почему никто не пришёл?

– Ничего странного. Мытищи как Мытищи, Москва – рядом. Художник умер. Барахло растащили родственники. Всем наплевать! Человеки – поганая, земная плесень безо всякого великого предназначения! Полные засранцы! Всё загадили!..

– Наверное, он оставил завещание, прежде чем... А уж потом – всё подчистую вывезли.

– Может, и оставил, – промычал Артур. – Выпьем.

Получался нелепый разговор на уровне бреда. Поминальный. Но вспомнить-то было нечего. Да и не с кем. Эгоистичный, злой, неудачник актёр Артур Ягодкин не отличался душевной добротой и человеческой искренностью. Он мог цитировать чужое, рассказывать часами о просмотренных кинофильмах. Трезвый мог упомянуть о своей новой писанине, но читать никому ничего не давал, боялся, что украдут сюжеты. Хотя эти же самые незамысловатые свои сюжеты выдавал во всех подробностях в пьяной болтовне при любом застолье и случайных сопитейниках.

Лет пять назад Артур окончил коммерческий годичный курс сценарного факультета ВГИКа. Выискался, на его счастье, старый школьный товарищ, который «раскрутился» на торговле с Китаем и на «челноках». Он и оплатил по «безналу» миллион рублей на обучение нищего Артура. Это была очень приличная сумма по тем временам. Ягодкин отучился год. На вечеринках и встречах с гордостью твердил, что он самый талантливый на курсе, что мастер пристроил на «Мосфильм» три его сценария. Куда пристроил, оставалось до сих пор загадкой? Наверное, в архив. Ни гонораров, ни отписок с кинокорпорации Ягодкин так и не получил.

С тех пор, озверевший, одинокий Бальзакер сидел в Мытищах в двухкомнатной «хрущобе» на первом этаже. На всех огрызался и обвинял, что все его забыли, никто не хочет помочь пробиться талантливому писателю через воинствующую серость и бездарность.

В звенящей тишине подвала Ягодкин вдруг грудным натужным баритоном затянул унылую песню:

– Вот и прыгнул конь буланый, с этой кручи окаянной! Чёрная вода, как ты глубока...

– Может, священника надо было позвать? – спросил Точилин.

– Написано: отпевание – завтра. На Ваганьково, – прохрипел Артур, поморщился от раздражения, что оборвали его замечательное оперное пение, захрустел квашеной капустой.

– Но как же мы будем завтра... то есть, сегодня его хоронить? Ни гроба, ничего. Как повезём на кладбище? Ты сообщил куда-нибудь?

– Куда?! – возмутился Артур.

– Куда-куда. В больницу. Ментам... Не знаю. Почему он здесь лежит, а не в морге?! Куда ещё сообщают, если помирает одинокий человек?

– Кто рассылал извещения, тот, наверное, сообщил, куда надо. А вот гроб... Гроб, да, это я не догадался. Надо было купить ящик. Только на что? На какие шиши? Я опять в жутком провале! В полной нищете. Пожрать иногда не на что, – прогудел жалкий Артур. – Год назад мама померла. Долго болела и померла. Третий инсульт. Денег, как всегда, не было. Пустой гроб попросил сколотить у станции из ящиков, довёз маму на садовой тележке до церковки, что на Ярославке. Отпели, как она хотела. Повёз обратно, через старые и новые Мытищи. Довёз до дома, а потом до кладбища, что за Северной ТЭЦ. Тоже на тележке. Километров пятнадцать прошёл с гробом и тележкой. Понял?! Вот эт-то был сюжет! Апокалипсис на местного масштаба! Куда там тебе – Тарковский! Люди шарахались от похоронщика! Как от чумного. Менты останавливали. Гроб открывали, проверяли, не везу ли чего недозволенного. Бандиты на чёрном джипе подкатили, пожалели, три сотни долларов в гроб бросили. Бандиты!... людьми оказались! Брейгель, блин. Старший. Фантасмагория. О, сюжет! Вот это, я понимаю, чёрная трагикомедия.

Артур оглянулся в сторону трепетного огонька церковной свечки, шумно втянул носом воздух и возмутился:

– Что-то не пойму, Точил! Почему ничем не пахнет?!

– Чем должно пахнуть? – спросил Точилин, с трудом отвлекаясь от собственных тяжких дум, про никчёмную жизнь, про чёрный тлен. – Как же не пахнет? Пахнет. Гнилью. Сыростью. Старыми затхлыми тряпками пахнет. А вот красками... красками – да-а, давно, похоже, тут не пахнет. Растворителями опять же у него остро всегда пахло. Не работал, видать, Тимоша давненько. Муза отлетела и продалась другому.

– Нет, не пахнет! – упирался Артур. – Вот я сию-сию тут. Пью водку. Один. Как чудак. Молча. Три дня уже, оказывается. Три сутки. Сплю тут. Никто не приходит. Я опять пью. А где запах, спрашиваю? Тр-р-рупный запах? Он что, святой, что ли? Тимофей, ты что, святой, что ли, был... стал? А? – спросил Артур, обращаясь к телу Тимофея не оборачиваясь, небрежно, через плечо.

Что-то громко фыркнуло в подвале, будто в темноте встряхнула крыльями огромная ворона, но вместо карканья тяжело так, нутряно всхрипнула. Огонёк описал на чёрной стене дугу. Церковная свечка быстро-быстро закапала прозрачными огненными слезами на колени покойника.

Артур сидел лицом к обомлевшему Точилину и беспечно покачивался на табуретке. Он не видел, как поднялся... покойник. Бальзакера напугал исказившийся гримасой ужаса лик Точилина.

Впечатлительный художник, расстроенный смертью друга и наставника, в двух метрах от себя, как в фильмах ужасов, на желтоватом экране плохо оштукатуренной кирпичной стены,

освещённой дрожащими огоньками свеч, вдруг увидел, как поднялся чёрный скрюченный силуэт покойника. Напуганный Артур судорожно сглотнул слюну, догадался по лицу Точилина, что произошло нечто жуткое и неординарное, повернулся к продавленному дивану. И дико заорал.

Спокойник

– Сидите, суки?! Водку жрёте?! – в ответ безумному крику Ягодкина дико и хрипло заорал Тимофей Лемков. Собственной живой персоной. Всклоченный, будто волосатая шаровая молния в момент взрыва, он с бешенством поводил по сторонам желтками безумных глаз.

– И не поминаете, уроды? На моих поминках пьёте и не вспоминаете обо мне?! Мою жизнь?! Не вспоминаете, суки, а только жрёте водку?! Один раз соберёшься послушать об себе хорошего! И – ни хрена! – с горечью и дрожью в голосе орал бывший покойник Лемков. – Я тут поминки организовал! Стол накрыл – на последние! Водки накопил – ящик! И ни-кто, суки, не пришёл! Кроме вас, двоих идиотов!

Кто знает, как останавливается сердце? Наверное, так. Мясная клизмочка в груди сжимается от ужаса и перестает выталкивать кровь. Мозг начинает остывать. Кровь же не поступает. К мозгам. Сколько такое состояние может продолжаться до полной смерти? Минуту? Две? Три?

– Сидите?! Молчите?! – безумствовал Лемков. Воткнул догорающую прозрачную свечечку в сизое переплетение локонов квашеной капусты. Махнул внутрь стакан водки, занюхал хлебом и рукавом растянутого свитера. Уселся обратно на продавленный диван, по-киргизски поджал под себя ноги, обхватил патлатую, невытую голову руками, завыл с неподдельной тоской:

– И-и-и! Даже помереть нельзя по-людски-и! И-и-и...

Точилин, разумеется, не смог вспомнить, как выглядел в тот момент остолбеневший Артур, напуганный оживлением покойника. Сам Точилин напоминал казнённого, с колом в заднице, когда хватает сил только на последний вздох. Наконец, и у него прибыло сил вздохнуть. Клизма в груди задёргалась и продолжила размеренную работу. Но выдавить ему удалось только:

– Но ты, Тимоша, деби-и-ил!

– Вот так шу-у-утки! – захрипел и Артур, судорожно дёрнулся. Под ним опрокинулась табуретка. Он откинулся назад, гулко ударился спиной и затылком о кирпичную стену, сполз на грязный бетонный пол.

– Спасибо, хоть вы пришли, засранцы, – спокойно отозвался Тимофей, с хрипом зевнул. – Сдохнешь тут, никто и не вспомнит. Ну, что, жаждем, сволочи, по чарочке, по маленькой?! Да и – на боковую! Устал. Завтра должны меня сначала отпевать, а затем закопать. Должны были. Но, похоже, не получится. Нет, не получится сдохнуть так запросто. Самому. Без рукоприкладства. Потому давайте-ка спать укладываться. Утречко нового дня, мать его ити, скоро наступит. Спать... жуть как хочется. А то лежу-лежу тут четвертые сутки. Спокойник, блин! Вот теперь пялюсь на вас, придурков! Смех разбирает, да и только! Столько свечек поменял. Пук целый. В церковке на Ваганьково купил, когда об отпевании договаривался. Пальцы все ожёг. Живот весь в воске. Жду-жду. Ни-ко-го! Хорошо, хоть этот подлец Бальзакер припёрся, а то я бы точно повесился, отравился от тоски или вены себе порезал, – с глубокой печалью признался Тимофей, усмехнулся, дёрнул левой стороной бороды, указал кривым пальцем на безмолвного Артура, сидящего на полу, но обратился к Точилину. – Только представь, Жорик, пришёл этот позорный Бальзакер и сразу водку давай жрать! Жрёт и жрёт. Жрёт и жрёт! Молча. И – пердит! Тихонько, как предатель, рулады подлые выводит. Музыкант, блин! Набздит кислыми щами, аж у покойников ноздри сводит! Мне уж невмочь дохлым прикидываться. Задыхаюсь от смеха и вони. А Бальзакер, зараза, рукой у зада помашет. Ругнется. И опять водку жрёт. Ну, не подлец ли?!

– Нормальная панихида! Коньки с вами, други, тут отбросишь, – прохрипел Артур, тяжело поднялся с пола, уселся верхом на табуретку. Склонил голову, покачал укоризненно.

– Чуть не помер, Тимоша. От разрыва сердца.

Ягодкин потрогал впалую грудь под дешёвеньким клетчатым пиджаком от «Большевички», шумно продышался.

– Что-то схватило, – пожаловался он, – дышать не дает. Ну, не подлец ли наш Тимоша, а, Точил? Предатель... При чём тут предатель?!

– Что? – громко переспросил Точилин. Из-за противного звона в ушах слова доносились к нему в сознание, будто из колодца, в котором ещё к тому же плещется вода.

– Что-что! – заорал Артур. – Подлец, говорю, наш дружбан, который покойник! – и выпил один, закусил целым огурцом. Похрумкал ожесточенно.

– Ты что за спектакль устроил спектакль, Тим? Себе испытание такое или нам?

– Что устроил, то устроил, – обиженно пробухтел Тимофей. – Лежу три дня и три ночи. Прокис весь, как... портвейн «три семёрки», мать вашу ити, в опрокинутой бутылке! Ни одна сволочь не пришла! Всем приглашение разослал! Всем нашим... Полста штук, думал друзей у меня! Полста, Жорик! Это пять десятков человек, которых считал друзьями, товарищами, коллегами!

– А я?! – жалобно прохрипел Артур. – Пришёл. Переживал. Трое суток переживал. А он?! Негодяй! Нельзя же так. Сердце схватило. Больно. Жжётся, – и он помял кулаком грудину, болезненно сморщился.

– И у меня сердце колотится, как бешенное, – согласился Точилин. – Но ты-то, Бальзакер, – полный придурок?! Выходит, жрал тут водку двое суток и не понял, что он живой?!

– Трое. Трое суток. И не понял. Пойми тут. Лежит и лежит. Свечки горят. Открытка опять же в Мытищи пришла с почтальоном, – попечалился Ягодкин.

– За три дня не понял, что он живой?!

– И за две ночи, Точила, – прошептал Артур.

– Но ты даёшь! – восхитился Точилин, постучал себя кулаком по лбу. – Свечки не могут трое суток сами по себе гореть, Бальзакер! Что ж ты не заметил?! Кто-то их меняет! Они ж тоненькие, свечки-то! Тоненькие, как карандашики! Минут двадцать горят...

– Так он и не просыхал! – возмутился Тимофей, бывший покойник. – Бальзакер хренов! Халявщик и пердун!

– Что случилось-то, Тима? Что за жуткий спектакль ты устроил? – прошипел возмущённо Точилин. – Нехорошо так с товарищами. Накличешь беду. Нехорошо.

– Накличет! Точно! – злобно отозвался Артур. – Ну его к чёрту старого балбеса! Давай чокнемся, что ли, Точила, за здоровье этого... полного чудака. Теперь можно. За здоровье этого козла. Чтоб ты реально сдох, шутник хренов!

Артур разлил водку по трём пластиковым стаканчикам. Привычно накрыл один из стаканчиков куском чёрного хлеба, спохватился, сунул в рот.

– Что же ты тут устроил, Тимон?! – продолжал возмущаться Точилин. – Заикой с тобой станешь. Почему подвал пустой?! Это твои... эти, которые тусуются тут, кислотники, всё повыносили?

– Не знаю, – тяжело прохрипел Тимофей. – Э-хе-хе. В отъезде был. На плэнэре. Приехал. Замок срезан. Дверь распахнута. В мастерской – пусто. Подчистую вымели. Керамику. Картины. Всё! Остальной хлам выкинул. На помойку. Всё! Хана моей дурной жизни.

– Нормально, – прогудел Артур. – Не надо было разных козлов пускать.

– И ты решил умереть, – грустно пошутил Точилин.

– Решил, – смиренно кивнул Тимофей. – Стало невыносимо грустно, Жорик. Лёг на диван и чуть не сдох. Сердце останавливалось. Два раза. Но не остановилось. Что ж, подумалось? Только – в петлю. Начал искать верёвку. Не нашёл. Даже верёвки не нашёл, Точила. Представляешь?! Отравиться водкой тоже не получилось.

– Перестань! – возмутился Точилин. – Начни снова. Работай. Работай. Живи, одним словом.

– Одним словом? Я же написал вам?! Написал: умер художник. Баста! – и сгорбленный Тимофей заныл, всхлипнул по-бабьи. – Умер художник! Умер! На-все-гда!

– Делов-то, – сипло заговорил Артур, – обокрали! Художник от того только свободней становится. От нищеты. Настоящий художник он всегда – нищий.

– Перестань, Тим, не переживай, – проговорил Точилин, но горло судорожно задёргалось от неожиданной жалости к другу. – Жизнь продолжается.

Тимофей всхрипнул, кинулся к сортиру, опрокинув табуретки, едва не перевернул лавку с тазом и скудной трапезой. Тонкая свечка в тазике от взмаха его руки дёрнула огненным крылышком и погасла. Погасли и два огарка свеч на лавке. Гости оказались в крошечной темноте, когда поднесённого к носу собственного пальца не видно. Небольшие оконца – абразур в подвальную мастерскую были забиты ставнями из досок.

В туалете злобно зашипела вода. Голосом Артура трагически произнесли в темноте:

– Жалко старика. Да, Точила? Жалко?

– Тимофей – не старик, – возразил Точилин.

– Под шестьдесят и не старик? А когда старик?

– Он тебе... и другим фору даст и в творчестве и... во всём остальном.

– Эт вряд ли, – неуверенно просипел Артур.

– Не вряд ли, – прохрипели в темноте голосом Лемкова, – ещё всем вам, козлам, фору дам!

Опрокинулся в темноте пустой табурет. Факелок газовой зажигалки запалил оба жёлтых толстых огарка свеч на лавке.

– Чё все-то козлы?! – возмутился Артур. – Выходит, не все.

– А то и сразу – что все! Один Жорка вот и остался – че-ло-ве-ком! – Лемков дружески хлопнул Точилина по плечу. – Спасибо! Ты настоящий друг. Единственный. Простил, пришёл на поминки. Хорошие слова сказал.

– Почему ты меня Жорой зовёшь, Тим? – вяло возмутился Точилин. – Ты ж знаешь, мне не нравится. Ты ж помнишь, мама Юрой назвала. Потом передумала. Юра – это не Жора, – это Георгий. Григорий – это Гриша. А Юра – это Юра. Не нравится мне Жора. Олег – другое дело! Торжественно.

– Ни фига не торжественно. Олег – очень плохое имя! – упёрся Лемков. – Давно тебе говорил. Меняй паспорт. Возьми другое имя. Жора, Георгий, Роберт, Ричард! Звучно! С именем Олег плохое... отвратительное отчество будет у твоей дочери.

– Нет у меня дочери! – упирался Точилин. – Насколько мне известно.

– Будет. И какое у неё будет отчество?

– Какое? – решил уточнить пьяный Артур.

– Оле-говна! Пусть же ты будешь Жорой, друг мой, – явно издевался Тимофей, поднял перед глазами мерцающий пластиковый стаканчик с водкой, продолжил:

– Юрий тоже плохо для тебя звучит, – недобро проворчал он. – Юрий – имя первых! А ты всегда, друг мой, второй, пятый, десятый! Вспомни наши выставки! Всегда вторые, третьи. Для Гагарина – это хорошо. Для тебя – плохо! Ты ведь никто, Жора! И я никто! И Бальзакер – никто, – Тимофей ткнул чёрным, корявым пальцем в спину сморщенного, сутулого Артура. – Мы все тут – никто! Сидят и пьянствуют в ковчеге изгоев НИКТО! Так что, старина, буду называть тебя Жорой!

– Называй, как хочешь, – согласился Точилин, чтоб дольше не развивать словесный бред. – Жора, так – Жора. Давайте! Жизнь продолжается.

Вдвоём с Тимофеем они чокнулись, беззвучно сдвинули пластиковые стаканчики и выпили.

– Пойду, отолью, – проворчал Артур. Он обиделся, вероятно, что они на двоих разыграли партию близких по духу друзей. – У тебя ж здесь сортир имеется?! Оказывается, – и он тяжело поплёлся по направлению к выходу из подвала.

Точилин с Лемковым с удивлением переглянулись.

– Куда ж ты трое суток отливал, Бальзакер?! – заорал Тимофей во след бесцеремонному гостю.

Артур приостановился, фыркнул с презрением.

– Капусту твою засаливал.

Лемков подавился, закусывая как раз капустой, отплеваясь.

Артур задорно хохотнул, успокоил, выделяя букву «о» на вологодский манер, проговорил:

– Во двор ходил, по малой нужде, деревня! У тебя там песочница классная!

– Но ты и придурок, Бальзакер! – возмутился Точилин. – Столько раз напивался в мастерской и до сих пор не знаешь, где сортир! А как же дети?!

– Какие дети, Точила?! – закричал Артем из туалета. – Не было детей! И никогда не будет! Ни у тебя, ни у меня! Нечего рожать моральных уродов и плодить нищету!

– Дети, которые в песочнице!..

– Я всем своим приёмным детям помогаю. Всем двум. Как могу. А могу... очень и очень редко. Не можится что-то мне, друг Точила, с деньгами по жизни. Не можится. Нейдут они ко мне, нейдут. Эй, где тут свет включается, Тимоний?!

– Отключили! За неуплату! – гаркнул Лемков.

– Он там щас все стены уделает, этот писающий мальчик, – беззлобно проворчал Точилин. Сил подняться не оставалось. Голова и тело отяжелело. Внутри организма стало тепло и спокойно от выпитой водки. Хотелось спать, спать и спать.

– Нашёл! Нашёл твой универсальный таз! А у меня зажигалка есть! – послышался бодрый голос Артура. – Хор-р-рошая! Бензиновая! Только заправил... три дня назад. Зипо-по! Да будет свет! Оп-па!

Тимофей помотал патлатой головой, горестно вздохнул, вполне трезвым голосом заявил:

– Жорик-Жорик, дела мои – полный швах!

– Что так?

– Забрали несколько дорогих чужих вещей. Очень дорогих. И полотно... очень ценное. Почти бесценное. Да и моих здесь холстов, керамики и прочих мелочуг было тысяч на... двести – триста, в первом прикиде.

– Двести – триста поделить на курс доллара, – Точилин попытался сообразить о потерях друга. – Не так уж и много, Тим. Не переживай! Заработаем.

– Гринов, Жорик. На двести тысяч гринов.

– Баксов?! – искренне удивился Точилин. – Откуда столько?!

– Какою помнишь, с экспедиции с Керчи привёз?

– Ну.

– Одна на тридцатник потянет.

– Баксов?! Тот прозрачный камешек на тридцатник?! – не поверил Точилин. – Гонишь!

– А медальончик, что я за медный выдавал, помнишь?

– Терракотовые головки помню. Глина! Медальон – не помню.

– Пятачок такой, невзрачный, – прогудел Тимофей.

– С богинькой и козочкой? Ах, да! Помню-помню.

– Артемида. Богиня охоты. Так он золотой был, медальончик-то. Третий век до нашей.

– Что до нашей?

– До нашей эры. Две тысячи триста лет ему с гаком. Сколько он мог бы стоять, по-твоему, на чёрном рынке?! – таинственно прошептал Тимофей.

– На чёрном?! По-моему?! Много, – согласился Точилин. – И всё-всё-всё подчистую вынесли?

– Всё, – трагически мотнул патлатой головой Тимофей, прислушался к мирному журчанию, что уже долгое время раздавалось в туалете, и заорал:

– Бальзакер, ты там за трое суток отливаешь?!

– Похоже, – даже не улыбнулся Точилин, находясь под впечатлением от услышанной стоимости тимофеева богатства. У Лемкова не было оснований врать, если он говорил, – так оно и было. Всегда.

– Или ты кому-то проболтался по пьянке, или кто-то из своих гробанул, – прошептал Точилин. – Может этот? – он не успел высказать предположение, только кивнул в сторону выхода.

Сдёрнули воду в туалете. С шипением спускаемой воды раздался жуткий вой, будто на волка ночью наступили сапогом размером с телегу. С грохотом вывалился из туалета на пол обезумевший Ягодкин. Засучил ножками и ручками. Как таракан, на заднице, спиной вперед подъехал к лавке, упёрся плечом в ножку табурета, на котором восседал Точилин.

– Т-там-м, Точ-чила, – просипел взволнованный Артур и указал трясущимся пальцем сначала в направлении сортира, потом на Тимофея. – У-у-у н-него т-там тр-р-руп! К-куски тр-рупа леж-ж-жат.

Впечатление

После дикого вопля Артура у Точилина запрыгали по затылку патефонные иголки. Он сидел и не мог произнести ни слова, только гыкал, как заезженная пластинка, пытаясь спросить Лемкова, в чём там, в сортире может быть дело.

Обезумевший Артур не забыл поддёрнуть брючки на коленях, уселся на холодном бетонном полу, трясся и шептал, заикаясь:

– Пов-вернулся с заж-жигалкой, а-а т-там, в эт-том... т-таким кор-рыте д-для д-душа, – н-нога, р-рука. И-и... в-всё от-дельно ос-стальное...

Лемков преспокойно жевал. Стебли чёрных растений свисали по растрёпанной бороде, как усы у моржа.

– И г-грудь, Точила, т-тоже там, – продолжал подвывать жалкий Артур, – ж-женская. Кр-рупная такая.

– Да, – громко и торжественно заявил Тимофей. – Эту стерву я кончил и расчленил. Заслужила. Столько кровищцы было, Жорик, о-о-о! Полнокровная, зараза, оказалась!

Ужасный, в своем диком спокойствии, Лемков, как ни в чём не бывало, продолжил закусывать очередную порцию водки, словно поведал собеседникам о чём-то совершенно обыденном. Червяки квашеной капусты дополняли отвратительными гирляндами его лопастую бороду. Взлохмаченный Лемков выглядел мерзко, будто упырина, что сожрал возлюбленную, и теперь давится, не может пережевать человеческие сухожилия.

– Что там? – сипло от волнения переспросил Точилин.

Лемков мрачно усмехнулся.

– Труп.

– Ч-че, с-серьезно? – начал заикаться Точилин.

– Сходи, проверь, – ответил невозмутимый Тимофей.

– Т-там, – промычал Артур, кивнул головой в направлении туалета. – С-сходи.

– Зрелище не из приятных, – предупредил Тимофей, – сходи-сходи, Жорик. Посмотри. Полюбуйся на свою возлюбленную. В последний раз. Извини. Разобранная...

– Почему возлюбленную?! – тихо возмутился Точилин. – Она – твоя, а не моя...

– Знаю-знаю, – погрозил ему скрюченным пальцем чудовищный, бородатый упырь Лемков. Сидя на диване, в растянутом свитере, растрепанный, он реально выглядел бесформенным чудовищем.

– Иди, дружок. Там, в поддоне всё и увидишь. Все части её великолепного тела. И голову. И грудь. Узнаешь, – и мстительно добавил:

– Знаю-знаю, вы встречались. Она позировала тебе, милый друг, я знаю. Ты писал её голую.

– Только писал, Лёма. Она ничего не позволила.

– А я и писал. И мне позволяла всё! – со старческой гордостью заявил Тимофей.

– Неужели ты её?... – в ужасе прошептал Точилин.

– Угу, – деловито мотнул головой Тимофей.

– Зачем?! Пусть бы жила...

– Не случилось у меня своей Данаи, Жорик! – прошептал Тимофей. – Не случилось. А у тебя?!

– Что?!

– Получилось написать её под Тициана? – уточнил Точилин.

– Не мне судить. На паре холстов приличная экспрессия случилась, под Гойю. Но с мягкостью и прозрачностью кисти Тициана... Помнишь, мы ещё удивились с тобой при первой

встрече. Думали, это знак «виктория! – Тамаркин жест под тициановскую Флору: два разведённых пальца левой руки, указательный и средний?

– Помню, как не помнить. Эх, пальцы и ноги разводить – это она была мастерица, – с большим сожалением, без осуждения сказал Точилин. – Я ж портрет её в образе тициановской Флоры раз пятнадцать писал.

– И я. Даже типа шаржа написал...

– Шаржа?! – удивился Точилин.

– Да-а. В отместку, что покинула меня. Кстати, эксперты до сих пор устраивают дискуссии: с кого Тициан написал портрет Флоры! По мне так – с известной куртизанки шестнадцатого века...

– О чём вы, мазила?! – дико заорал Бальзакер. – Этот старый дурак там вашу тёлку распилил! А вы – Тициан, Флора?! Охренели?!

Артур, с выпученными глазами, так и сидел на грязном бетонном полу, свернувшись, охватив руками худые коленки в дешёвых помятых, коротких брючках.

– Иди, Жорик, попрощайся с возлюбленной, – зловеще прошипел Лемков. – Можешь, кусочек забрать. На память. Хочешь, грудь забери целиком. Она же тебе нравилась...

– Она... она нравилась мне целиком, Тима! Что ты наделал?! – в ужасе прошептал Точилин.

Тимофей улёгся обратно на диван, будто исчез, растворился в застенной черноте подвала и опустевших ребер железных стеллажей. Слышен был только его голос, утробный, сипящий, хрипящий.

Внезапно ослабевший Точилин не сразу поднялся. Ноги подгибались, словно пластилиновые. Голова и волосы, вероятно, запылали газовым пламенем. В сумраке красно-кирпичного подвала он всё отчетливо разглядел на своём пути. Неприбранный предбанник мастерской Лемкова, куда тот сгрёб, похоже, весь оставшийся и ненужный хлам и мусор: драные, грязные, плетёные половички, ковровые дорожки, ломаные подрамники, кипы газет, разодранных книг. Точилин преодолевал это пространство, казалось, долгие минуты. Пощелкал выключателем на стене. Свет в туалете не зажётся.

– Даже линию отрезали, – пояснили из глубины подвала хриплым голосом Лемкова. Его лик безумного кровавого упыря вновь возник над тазиком с трапезой и освещался единственным жёлтым огарком свечи от лавки. На стене за его спиной покачивалась уродливая волосатая тень.

– Т-там на п-полу за-аж-жигалка, – прошипел Артур. – П-поищ-щи.

Минут десять в полной темноте Точилин шарил рукой по грязному, влажному кафельному полу сортира, задыхаясь от вони нечищенной сантехники. Трудно описать состояние тихого ужаса, которое объяло впечатлительного художника. Казалось, сейчас он завалится в обморок от прилива крови к голове, от гула в ушах, от слабости в членах. Но тупое желание увидеть нечто жуткое, но узнаваемое в поддоне душевой заставляло его двигаться, будто заржавленный механизм на издыхающем заводе пружины.

Наконец, на кафеле он нащупал холодный металлический предмет – зажигалку «Зиппо». Откинул крышечку. Запах бензина показался благоуханием в этом смраде и подействовал как освежающий дезодорант.

Вслед за крохотным фейерверком искорок синий огонек высветил в коричневом корыте... бледно-жёлтые человеческие конечности с синими прожилками вен. Ногу с крохотными аккуратными пальчиками. Руку, ровно отрезанную выше локтя. Округлый живот с углублением пупка, аккуратные вершинки женской груди. За драным, почерневшим от плесени полиэтиленовым занавесом были видны чёрные длинные волосы, змеящиеся по грязно-коричневому пластику поддона.

Кто-нибудь когда-нибудь перепивал, скажем, пива, а потом заедал невероятным количеством квашеной капусты, сможет понять состояние Точилина, когда это месиво в желудке внезапно приходит в волнение, набухает и начинает выпирать из нутра вулканом, как прокисшее забродившее варенье.

Не стоит в подробностях описывать жуткое состояние впечатлительного, ранимого художника, с пересказов которого, в основном, и передается эта история.

Опомнился Точилин, опустошенный и обессиленный, перед лавкой с закусками. Судорожно налил себе водки в хрупкий стаканчик, выпил одним глотком, обжигая горло.

– Лёма, да ты охренел?! – прохрипел он. По злости и недовольству именовали Лемкова иногда Лёма.

Артур так и сидел свёрнутым болваном на полу, вяло кивнул, соглашаясь с ним.

Худой, всклоченный Лемков восседал на продавленном диване в позе засохшего лотоса, намеренно спокойно жевал. Не удостоил бывших друзей ответом.

– Чё ж теперь? – в ужасе прошептал Артур. – Зарыть? Или в мешок и – на дно?!

– Эт-то Тамар-ра т-там? – прошептал Точилин.

– Узнал? – зловеще уточнил Тимофей.

– Наверно, я пойду, – неожиданно принял решение Артур, словно очнулся после комы, тяжело поднялся, принялся отряхивать от пыли перепачканные брючки, пиджак, заправлять мятую рубашку за пояс. – П-поминать эт-ту тёлку с вами я не буду. Я её совершенно не знал. И зарывать или топить, – точно не буду.

– Сидеть, – значительным голосом приказал Лемков. – Она тебе не тёлка! Мы эту тварь с Жориком безумно любили. Оба. Любили до помрачения.

Артур медленно опустился обратно задом на бетонный пол.

– Мы теперь с вами, друзья, помазаны кровью! И смертью! – вскрикнул Лемков, громко, безудержно расхохотался. Его мутные безумные глаза были широко распахнуты. Однако, хохотал он без истерического надрыва сумасшедшего. Точилин, хотя и трясся от противного озноба, нашёл в себе силы спросить спокойно:

– Что ж теперь будет, Тима?

– Тюрьма, кандалы, каторга, – просто и насмешливо ответил Тимофей. – Мне – пожизненное. Вам – за соучастие.

– Участие?! – жалобно завыл Артур. – Я ж просто зашёл на поминки. Ты распилил её до меня!

– Замолчи! – прикрикнул Точилин на пьяного Бальзакера. – Всё она вынесла? – он кивнул на пустые стеллажи.

– Она, – прохрипел Лемков, снова налил себе в стаканчик водки.

– Погоди напиваться, – попросил Точилин. – Надо что-то придумать.

– Н-никто н-не видел, как ты её рас... распиливал? – спросил Артур.

– Нет.

– Тогда нормально, – оживился Артур. – Мне налей.

– Нормально?! – заорал Точилин, понизил голос до зловещего шёпота и повторил:

– Нормально? Вы охренели?! Оба?! Грабёж, кража – это одно! Но убийство?!

– Точил, интель позорный, заткнись, пожалуйста, – попросил вдруг Артур вкрадчивым голосом, буднично и жизнерадостно, подсел на диван к Тимофею, приобнял его за худенькие плечи. – Ты, наверное, правильно сделал, друг мой Тима. Суд Линча, правда, не самый лучший способ покончить с испепеляющей любовью, но... Давно надо было эту вашу стерву прикончить! Эту вашу драную царевну Тамару. Даная, блин, выискалась...

– Заткнись, – спокойно попросил Тимофей.

– Понял, – ответил Артур, отсел на валик старого дивана, на безопасное расстояние от предполагаемого маньяка и убийцы.

– Так, ребята... – деловито начал Точилин, лихорадочно пытаюсь совладать с нервами, и сообразить, что же можно предпринять в подобной дикой ситуации. – М-мы как-то п-писали эскизы надгробий по заказу новых русских братков. А п-потом помогали бандитам хоронить их тов-варищей на одном кладбище. М-может, там м-могилокопателей подпоить и-и захоронить её ночью по-людски. По-тихому. Всё-таки девка она была хотя и отвратная, но ж-жутко волнительная и кр-расивая. А п-потом тебе надо бы свалить из города, Тимоша. Свалить, если не навсегда, то надолго. Или, хочешь, поехали куда-нибудь вместе? На Азов или Чёрное...

– Поехали, – обреченно мотнул головой Лемков. – Поехали, друг мой Жорик Олегович, к морю. Чёрному-пречёрному. Отдохнём, отлежимся на горячем песочке, а уж после – утоплюсь. Бросишь венки из полевых цветов в мутные волны. Бальзакер будет «Гарики» читать и прочую свою лабуду. Ля-по-та. Поплыву себе в холодной мгле, пока смогу не дышать водой. Потом меня сожрут рыбы...

– Н-ну, я серьезно, – продолжал, заикаясь, Точилин.

– И я. Завтра надо выметаться из мастерской. Придёт домуправ с ментами опечатывать наш ковчег. Выселяют. И податься художнику решительно некуда, ты ж знаешь, – грустно сказал Лемков, откинулся на спинку дивана, задрал бороду в потолок, дёрнул кадыком на худой шее и так, казалось, задремал. Ягодкин с Точилиным подождали некоторое время, затем оба одновременно поднялись. Артур направился к выходу.

– Ни хрена, – тихо и решительно сказал Точилин. – Никуда не пойдешь, Бальзакер. Будешь помогать.

– Нет! Не буду! – истерически взвизгнул Артур. – Из-за этого старого дурака не хочу оказаться в тюрьме! Не хочу! Такая девка у вас была классная! Пох-хожая на Алабаму, тока волосы чёрные. А этот!.. этот урод взял и-и распилил её! Не трогай меня! – одёрнул рукав пиджака Артур, когда Точилин попытался взять его под руку. – Ты, такая же сволочь, Точила, как и твой друг – убийца, маньяк и расчленитель! Не трогай меня!

В ярости Точилин хлестнул Артура ладонью по щеке, чтоб прекратить его пьяную истерику. Ягодкин обмяк, сполз вдоль стены на пол, закрыл ладонями лицо и завыл, тихонько, по-бабы.

– Во, блин, попали! – прошептал Точилин, беспомощно оглянувшись на жирный огненный червяк догорающей свечи, за которым торчало помело Тимофеевой бороды.

В подвальной гулкости раздался стук кулаком во входную железную дверь. Сердце Точилина, казалось, прыгнуло к самым гландам и там забилося как сумасшедшее.

– Ай! – дико вскрикнул Артур. – Что-й?! Менты?! Уже пришли?! Это конец!

– Иди. Глянь. Кто, – прошипел Точилин.

– Сам.

– Иди, глянь! – страшным шепотом приказал Точилин. Ноги его с места не двигались, не подчинялись.

На полусогнутых Артур засеменил вверх по разбитым ступенькам лестницы, дёргая головой на каждый удар кулака по железной двери. Тут же скатился обратно.

– Что? – прошептал Точилин. – Кто?

– Н-не знаю! – жутко взвыл Артем и свернулся в сидячий кокон на корточках.

– Как это не знаю?! – удивился Точилин. – Кто там колотится?

– Кто-то.

– Кто «кто-то»?!

– Стоит кто-то. И колотится. Р-рубашка б-белая. Галстук – ч-чёрный. А г-головы нет. Стучится... рукавом, – проблеял Артур.

– Рехнулся? Как это рукавом?

– К-кажется, не рехнулся. Но ещё чуть-чуть – и мозги расплавятся и точно уп-плывут, – ответил Артур, ткнулся лбом в коленки. – Сейчас сойду с ума! – всхлипнул он. – В-возьму

и сойду. Раз, два, три... Уж-же голова г-горячая, как кастрюля. И уш-ши... как ручки... от кастрюли. Сойду, – причитал он по-детски.

– Я тоже, похоже, сойду... но на следующей остановке сознания, – философски заметил Точилин. У него случился полный ступор в развитии эмоций. Будто зафиксировали организм неким физиологическим раствором. Ввели литров пять через вену, заполнили всю кровеносную систему, отчего всё в нем застыло до вязкости. Но продолжало медленно функционировать сознание. Сердце. Обоняние. Зрение.

Стук кулаком в железную дверь продолжался.

– Есть там кто?! – крикнули с улицы. – Открывай, ну!

Двадцать две ступеньки вверх Точилин преодолевал одну на стук. Удар – ступенька. Глянул в прожжённую в металле дыру. И остановилось дыхание, словно грудную клетку с хрустом сдавило корсетом из железных обручей.

Уличное освещение выключили. Раннее утро ещё не разбавило серыми красками чернильную синь ночи, мрак которой усиливали шевелящиеся чёрные ладошки листвы деревьев. На фоне этой шевелящейся черноты Точилин различил в дырку серый, отливающий металлом костюм без пуговиц. Ослепительный белый ошейник рубашки и чёрный провал вместо головы. Почти всё, как описал Бальзакер: стальной костюм стучал рукавом в железную дверь. Беле манжеты рубашки, воротник с чёрной селедкой галстука. А головы у костюма не было.

Точилин охнул, присел на корточки, упёрся лбом и коленями в шершавое холодное железо двери. Удар каблуком стучащего пришёлся как раз ему по коленке.

– Открывайте, ну! Слышу – ходят, – культурно попросили с улицы высоким мужским тенором. – Открывайте, ну! Пришёл папу увидеть.

– П-папу?! – истерически хихикнул Точилин, икнул. – Какого папу?! Ты-й кто?!

– Тима, – ответили из-за двери достойным мужским голосом. – Тима! Открывай!

– Тима?! Ещё один?! Без головы?! – вскрикнул Точилин, вновь прильнул к выжженному сваркой отверстию в толстом металле двери. Вновь у него остановилось дыхание. Костюм без пуговиц, обрамлённый сверху белым ошейником провернулся, как бы вокруг оси и... улыбнулся прямо в дырку огромными белыми зубами, что повисли над белым ошейником.

– Ти-и-има-а-а! – дико завывало с улицы. – Открывайте, гады-сволочи! Папа умер!

– Белила цинковые, – ни к месту проговорил Точилин, потрясённый страшными видениями, оступился и с грохотом покатился вниз по ступенькам, увлекая за собой всё, что попало под руки: ведра, жестяные банки, ящики, ещё какой-то лязгающий, хрустящий хлам.

Он пролежал пару минут на холодном бетонном полу. Приходил в себя, спокойно посматривал на багровый сводчатый потолок подвала, где метались ризраками летучих мышей чёрные тени. Над ним склонилась лохматая голова Артура и подышала перегаром в лицо:

– Что там?

Точилин бессознательно ответил за свое безвольное тело:

– Майн Рид. Или Конан Дойль? Не помню. В общем, Бальзакер, они пришли втроём, вместе с Эдгаром По. Заявились ПО наши души! Подмывайся.

– Бредишь, Точила, – страшным шёпотом переспросил Артур. – Что ты несёшь?! Кто там пришёл, разглядел?!

– Всадник без головы.

Чёрный ангел

В дверь грохотали кулаком беспрерывно. Наглым, уверенным голосом требовали:

– Открывайте, придурки, подлецы, уроды, ну! Урою, морды убью! Милицию зову, ну! – и добавляли непрерывную руладу из русского мата.

– Открывай, – согласился лежащий на полу Точилин. – Наш. Кто-то из наших. Матерится, значит, наш.

Артур покорно пополз на четвереньках вверх по лестнице. Громыкнул засов. Тем же высоким мужским тенором более спокойно заявили:

– Водку жрёте, сволочи! Папу пропиваете?! Не открывают тут! Обнагтели?!

Послышался удивленный вопль Артура, его идиотское завывание и выкрик:

– Ангел! Чёрный! Капец!

Ушибленный во всех местах, с головы до коленок, Точилин продолжал валяться на холодном, колючем, бетонном полу. Сверху на него надвинулся огромный железный костюм, отблескивающий кровавыми звёздочками. Будто пришёл безголовый Железный Дровосек из детской сказки про «Изумрудный город». Стальные брючины перешагнули через распластанное тело.

– Как же ты мо-о-ог! – завывли тем же голосом, но уже со стороны мастерской и дивана. – Зачем меня оставил?! Папа-а-а!

Точилин с трудом перевернулся со спины, встал на четвереньки, поднялся на ноги. Светлый металлический костюм, словно был сделан из мерцающей фольги, лежал поверх ног Тимофея. Подлец Лемков с горящей тоненькой свечкой в руках вновь прикидывался покойником. Нервный огонёк высвечивал плотную кучерявую шапку волос, которая, несомненно, принадлежала, светлому костюму.

– Пап-па-а-а, – завывал костюм, – зачем ты умер?!

– Па-па, – произнес за спиной Точилина скрипучим кукольным голоском Артур. – Папа. Тимофей – это папа?

Идиотская до безумия сцена могла продолжаться столько, сколько выдержал бы свою роль повторно усопшего Тимофей Лемков. Но, видимо, трогательное завывание обладателя металлического костюма тронуло чёрствую душу ограбленного художника. Лемков легонько погладил ладонью кучерявые волосы стального пришельца.

– Что ты, Тима! Перестань, – нежно сказал Тимофей. – Разве могу я покинуть тебя и не попрощаться, – и приподнялся. – Здравствуй, сынок.

Светлый стальной костюм взмахнул в ужасе рукавами, отвалился на спину и... перекрестился.

– Чур! Чур меня! – заорал отпрянувший на край дивана... негр. Теперь Точилин и Ягодкин в мареве свечного отсвета могли разглядеть потную черноту лица гостя, его красиво вывернутые, пухлые губы, приплюснутый африканский нос.

Лемков сидел на диване с вытянутой рукой и ласково манил негра пальцами.

– Успокойся, Тимоша. Я живой, живой! Хотел умереть, но... друзья вот не дали. Не позволили. Оживили.

– Друзя, – жалобно пролепетал чёрный Тима, оглянувшись на Ягодкина и Точилина. Наконец, и Точилин приблизился, рассмотрел вполне милое лицо шоколадного пришельца с выразительными влажными глазами.

– Друзья! – воскликнул Лемков. – Знакомьтесь, мой Тима. Я вам о нём рассказывал.

– Т-ты не говорил, что он... такой, – прошептал зачарованный Артур, – с-симпотный сынуля, я бы сказ-зал, как... это... как Мерфи из «Сорока восьми часов».

– Не говорил, – согласился Лемков, принял в объятия чёрную, плюшевую голову приёмного сына. Тот обнял его и зарыдал с таким искренним надрывом, что прослезились и Точилин с Ягодкиным.

Вскоре они вчетвером безмятежно пили водку, беззвучно соединяли пластиковые стаканчики, не произнося формальных слов. Чёрный Тима иногда радостно гыгыкал, тыкал бородастого Лемкова пальцем, шамкал сочными влажными губами:

– Па-па! Жив!

– Жив я, Тима, жив! Куда я на хрен денусь?!

– Папа! Жив! – повторял чёрнокожий Тима.

– Жив-жив! – соглашались трое выпивающих.

– Щас, – сказал вдруг чёрный Тима и поднялся. – Долго ехал запот, долго шёл по Москва. Схожу туалет, а то штаны... Новые. Испачкал. Чистить.

– Не надо в туалет, – мягко попросил Артур. – Нет света.

– Не ходи туда, не надо. Сходи, малыш, во дворик, – предложил Точилин.

Негр ослепительно, даже для сумрака подвала, улыбнулся.

– А зажигалка? – лукаво спросил он и понёс к туалету крохотный газовый факел.

Ягодкин с Точилиным с ужасом глянули на старшего Тимофея. Тот сидел на диване в той же позе киргиза, сгорбленный, жалкий, тяжело сипел, как астматик:

– О-хо-хо, что ж мне теперь делать-то, грешному?!

– Повеситься, – осмелел осипший Артур и зашипел негодующий:

– Закопаем обоих. Квазиморда противная! Убийца! Маньяк! Ты охренел совсем, мясник остоженский?!

– В ту прекрасную ночь застрелиться не прочь! – беззаботно пропел Лемков. – Но напьюсь – и опять промахнусь!

– Папа, – раздался спокойный, но подсевший, будто от простуды, голос чернокожего Тимы из-за фанерной двери туалета. – У тебя здесь человек на части.

Элегантный, будто скульптура из металла, невозмутимый чёрный Тима, в элегантном костюме стального цвета, вышел из сортира. Беззаботно вжикнул «молнией» на ширинке.

– Да, сынок, это моя бывшая возлюбленная, – ответил Лемков, низко, повинно склонил голову.

– Её пилили твои друзья? – простодушно спросил Тима-сын, подсел на диван к Тимофею-отцу, приобнял за плечо.

– Н-не-ет, ты что-о-о?! – хором заблажили Точилин с Ягодкиным.

– Эт-то он сам! Твой дикий папа! – воскликнул Артур.

– Да? Папа, ты сам? – тихо спросил чёрный Тима. – Зачем так? Сильно любил её? Да?

– Да, – кивнул Лемков. – Сильно и больно любил.

– Зачем пилить?

– Отомстил, – ответил Лемков.

– Понимаю, – спокойно сказал Тима-сын. – Пить водка дальше будем? За любовь.

– Наливай, сынок.

Тима-сын набулькал водки в четыре стаканчика. Все молча, не чокаясь, выпили. Тимофей-старший, кряхтя, встал, поплёлся в туалет.

Ягодкин и Точилин переглянулись, будто заговорщики, пересели к уверенному, спокойному чёрнокожему гостю на диван.

– Послушай, Тим, – просипел Точилин. Из-за сухости во рту он едва мог выговаривать фразы. – Ужасная история. Надо помочь папе.

– Надо, – мотнул головой Тима. – Тоже думаю.

– П-послушай, Мэрфи, – неожиданно влез в разговор вновь опьяневший Артур. Похоже, он успокоился от дикого поступка Лемкова по расчленению подруги. Свыкся с мыслью, что

он сам невольный соучастник и товарищ убийцы, раз выпивает с ним за одним столом. Глаза Артура, ошалевшего от водки, от безумных событий последних дней раскосого подёргивались в разные стороны. Тонкие, бледные губы кривились в улыбке шизофреника. – П-послушай, а-а п-почему ты, собственно, негр? Как это случилось? Когда ты почернел?

– Ты – зачем белый? – спросил Тима-сын.

– Реально. Зачем? – удивился Артур. – Судя по моей дурной жизни, это я – чёрный, а ты – белый. Костюм дорожный, от Версачи небось? Цельнометаллический! Галстук прикольный, хотя тоже чёрный. Гуччи? Луи Виттон, Армани?! Подкаченный железом атлет! А кто я? Какой же я белый? Ничтожный, навозный червяк. Это я – чёрный! Реальный российский белонегр! Россисткий, о!..

– Бальзакер, прекрати! – сдержанно попросил Точилин. – Ещё не хватало расизм разводить тут!

– Не обижаюсь, – мягко, без упрека ответил чёрный Тима. – Привык. Мама – белый. Был. Негодяй, что делал меня маме, наверно, чёрный был. Какой-то нигер. Наверно, с Нигерии. Может, Сомали. Не знаю. В Ленинград наркотики продавал. Убили. Его не помню. Маленький был. Потом мама умер. Дозировка, говорят. Сердце стало. Мне четыре было. Папа Тимофей меня квартире нашёл, накормил, помыл. Садик водил, школу-интернат отдал. Платил деньги за всё. Папой стал.

Точилин знал в жутких подробностях эту душераздирающую историю. Тимофей Лемков в юности сбежал от родителей в Ленинград, пытался поступить в художественное училище. Не удавалось несколько лет. Бродяжничал, ночевал по подвалам и чердакам. Не выдержал, созвонился с отцом. Московский авангардист простил беглого сына, позаботился, обзвонил ленинградских друзей, знакомых. У реки Пряжка, недалеко от Мариинского театра, наконец, пристроился Тимофей Лемков приживалкой в комнате коммунальной квартиры у дальних родственников. В училище так и не смог поступить. Возвращаться в Москву не торопился. Каменный мешок города на Неве не отпускал своим мрачным очарованием. И непроходящим вдохновением крылатых мостов, театральных декораций дворцов, соборов, обшарпанных домов. Устроился Лемков в котельную на Фурштадской. Как-то утром, после ночной смены вернулся в коммуналку, услышал тихий, умирающий детский писк в соседней комнате. С милицией вскрыли дверь. На бездыханном теле матери едва шевелился голодный трёхлетний ребенок. Четверо суток никто из двадцати трех коммунальных соседей даже не задумался, почему мать с сыном не выходят из комнаты. Тимофей забрал мальчика, с большими трудностями усыновил. Комиссия по делам несовершеннолетних всё ж не разрешила одинокому мужчине воспитывать ребенка и «содержать в условиях комнаты в десять квадратных метров», как было написано в протоколе. Пришлось определять Тиму в интернат Колпино, что рядом с Ленинградом. Но никогда Тимофей-старший не рассказывал, что Тима – чернокожий. Ещё до окончания интерната мальчик Тима уехал учиться в физико-математическую школу Академ-городка под Новосибирском. Его единственного из средних школ Колпино, как наиболее талантливого и одарённого, отметила комиссия Сибирской академии наук, что приехала набирать по областям и районам будущих учёных. Могущество России, по словам крестьянина Михайлы Ломоносова, будет произрастать, в конце концов, Сибирью. В Новосибирске Тима окончил университет, расправил чёрные крылья и улетел на Запад. Лемков постоянно отсылал приёмному сыну деньги на содержание в интернате, на обучение и пропитание в университете, благо в советские времена это были незначительные суммы: сто, сто двадцать рублей. На одних картинках на оргалите художники зарабатывали за неделю в два-три раза больше, каждый, и пропивали ту половину, которую Тимофей не отсылал.

Нынче чернокожему Тиме было где-то под тридцать годков. Ровесник. Он протянул глянцевою руку к Точилину с зажатым в огромном кулаке стаканчиком и сказал:

– Давай. Пьём. Знаю, ты – хороший человек. Точила... Правильно фамилия? Папа много рассказывал о тебе. Пьём.

– Выпьем, – Точилин растроганно сморщился, с благодарностью прикоснулся краешком пластикового стакана к чёрным ногтям приёмного сына Лемкова. – И ты, Тима, – тоже. Очень хороший. Папа тебя всегда любил.

Они выпили вдвоём.

– Понятно, – обиженно проворчал Артур, отсел от них на край дивана, – один я в этом ковчеге изгоев – полное дерьмо. Все хорошие. Один я – чмо! Человек Московской Области.

– Ты – эгоист, – заявил чёрный Тима, зажевал капустой выпитую водку. – Живёшь для себя. Знаю. Папа рассказывал. Писал письма. Ты – Бальзакер.

– Я тебе не Бальзакер! Папа ему рассказывал, – разозлился Артур. – Твой папаша человека убил. И разрезал на куски! Вот. Он убийца и маньяк! А я людей не убивал. И я – плохой?! Плохой, да?! А костюмчик-то у тебя – железный! – с неприязнью и сложным восхищением проворчал Артур, имея в виду, поблескивающий в полумраке, будто металлический, элегантный костюм Тимы-сына.

– Зачем железный? – удивился Тима.

– Дорогой небось? – продолжал Артур.

– Тысяча триста долларз, – не без хвастовства и самолюбования отозвался Тима.

– И ты его носишь?! – издевательски глумился Артур.

– Нет, шкафу держу! – отшутился Тима-сын.

– Может, в нём смонтирован холодильник или обогреватель? – обратился к Точилину за поддержкой Артур.

– Остынь, Бальзакер, – миролюбиво попросил Точилин. – Хватит юморить. Надоело.

– Тима! – позвал из туалета Лемков. – Помоги!

– Иди-иди, Железный Дровосек, помогай своему папаше – маньяку и убийце, – злобно прошипел Артур.

– Зубы дать? – спросил Тима-сын.

– Чиво-о-о?! – взвыл Артем и замахнулся кулачишком. Но тут же откинулся от лёгкого удара в лоб раскрытой ладонью чернокожего Тимы.

– Молчи больше, да. Может, умным станешь, – спокойно попросил Тима и отправился к отцу на помощь.

– Нет, ты понял? Вот так, – заявил опешивший Артур. – Негры белых бьют. Гарлем тут нынче, что ли? Бронкс? Или всё же центр Москвы?

– Помолчи, – попросил и Точилин. – Сам напросился. Скажи спасибо, что в зубы не дали.

– Спасибо, – прошипел возмущённый Ягодкин.

Странно, огромное количество водки, которое они за эту ночь выпили, не оказывало никакого видимого воздействия на их возбуждённые, растревоженные организмы. Ягодкин выглядел почти трезвым, хотя осоловело водил по сторонам расширенными глазами. Точилин чувствовал, что в состоянии выпить столько же. Видимо, невероятные события этой ночи так завели и взбодрили их психически, вздёрнули эмоционально, что энергии и здоровья хватило бы, чтоб куралесить ещё ни один день и ни одну ночь.

У двери, совмещённого с душевой, туалета послышалось кряхтение, возня и фырканье, будто сводные родственники рассказывали друг другу шёпотом неприличные анекдоты. В затемнённом тоннеле мастерской раздался дикий хохот обоих. На стенах лестничного подъёма догорали последние свечи. Желтоватый, мрачный отсвет на кирпичной стене подвала создавал мираж фантастического портала в нереальность. Папаша с чернокожим сыном с железными посвистами и скрипами вытащили в прихожую нечто тяжёлое. Разогнулись. Тима-сын успел снять пиджак и галстук, остался в белой рубашке и металлических штанах.

– Понял, сынок? – прохрипело из темноты голосом Лемкова. – Соцсюрреализм и пост-модернизм. Инсталляция. Будем её сейчас жарить! Устроим ей ад на земле! Говорят, помогает. Как там в Африке?! Куклы-муклы! Колдовство и магия Вуду! Исправляет живых, корёжит мёртвых!

– Понял, папа! Так можно! Конечно, можно! – весело откликнулся Тима-сын. – Вуду не трогай. Опасно. Накликаешь на голову. Но так, – он кивнул под ноги, – можно.

– Нужно! – с неумным энтузиазмом гаркнул Тимофей.

И оба, отец с сыном, вновь зашлись истеричным хохотом.

Куку⁷ – баба

Неизвестно, как себя чувствовал Артур в тот момент, Точилин к нему не оборачивался. У впечатлительного художника, уставшего и вымотанного, казалось, кожа всего тела высохла от ужаса и сморщилась под одеждой, как у мумии. Дрожь разбирала невероятная, словно Точилин держался руками за вибростенд, при этом его било током вольт в двести двадцать.

Двое безумцев, шипящих от усердия, бородатый белый и цивильный чёрный, беззаботно перешучиваясь. Подтащили ближе к столу, почерневший от сажи, мангал для жарки шашлыков. Долго устанавливали внутрь ржавого пенала обрезки толстых стеариновых свечей. Затем зажгли каждую из двадцати семи свечей. Получилось дико красиво. Множество дрожащих огоньков в прямоугольном металлическом ящике с дырками. По стенам и потолку, по серым пятнам полуобвалившейся штукатурки и красно-кирпичной кладки подвала, заплясали изумительные огненные сполохи и тени.

Точилин с Ягодкиным, будто на съёмках кровавого триллера, сидели рядышком на диване, онемевшие и обезумевшие, с ужасом наблюдали за слаженными действиями обоих Тимофеев. Ни о чём не думали, только следили.

Тимофеи натужно, с визгом протащили по бетонному полу тяжеленное цинковое корыто.

– Раз, – сказал бородатый Тимофей-отец.

– Два, – ответил Тима-сын, чернокожий.

Они слаженно подняли с пола и установили корыто поверх мангала, сияющего огненными мотыльками и боковыми отверстиями.

Точилину захотелось завывать от безумной паники, охватившей его, при виде свисающих с края корыта женских волос, торчащих в разные стороны округлых коленей.

– В-вы-й чо-й делаете, ур-роды?! – взвизгнул, заикаясь, Артур и повалился боком в обмороке на колени Точилину. Тот дико вскрикнул, оттолкнулся от обмякшего Бальзакера, вскочил ногами на диван. Вжался в бетонный угол подвала спиной. Теперь его заплывающему туманом взору предстала вся сумасшедшая картина безумного действа.

В корыте лежал обнажённый торс Тамары, бывшей лемковской Музы, Данаи, Маргариты. Отрубленная голова её с прикрытыми глазами в обрамлении чёрных, спутанных волос, была поставлена меж грудей. Волосы аккуратно расправлены по краям корыта. Прилагались так же ноги, ступни, икры с коленями. Вдоль торса лежали руки ладонями вверх. Тонкие, изящные пальцы были скрючены в судороге смерти.

– Держи, сынок, – хрипнул Лемков. Из чёрного чайника в его руках вырвалось реактивное синее пламя.

– Пальная лампада? – догадался Тима-сын.

– Паяльная лампа, – поправил Тима-отец.

– Помню. Хорошо. Пойдёт.

Чернокожий Тима, в белой рубашке с подвёрнутыми рукавами, забрал горелку из рук приёмного папаши. Принялся водить сипящим пламенем по бортам корыта со стороны торчащих женских коленей.

Точилин, кажется, пребывал в стоячем обмороке, но продолжал всё отчётливо видеть. Опускаясь вдоль стены, он зацепился воротом пиджака за кованый гвоздь, вбитый между кирпичами. Опора оказалась настолько прочной, что он остался висеть, будто Буратино в театре Карабаса, подогнув колени, соединив под собой подошвы туфель.

Далее происходили то ли галлюцинации, то ли самые невероятные реальные события: медленно исчезли женские руки. Вернее, они словно слились с глянцевой поверхностью, что

⁷ «Куку» – в переводе с тюркского языка, означает «горелая». В переносном смысле, – «угорелая».

образовалась из бёдер и живота. Заплыла впадина пупка. Вершинки грудей превратились в блины с чёрными изюминками сосков. Начали медленно оседать в корыто колени. Узнаваемое лицо Тамары с прикрытыми веками глаз стало терять очертания. Обвисли щёки, нос, веки... И вдруг её чёрные волосы вспыхнули синим пламенем.

Очнулся Точилин от жёстких похлопываний по щекам. Не успел открыть глаза, как в лицо ему обрушился водопад из ведра. Пока он прочухивался и отплевывался, мотаясь на гвозде, как тряпичная кукла, услышал спокойные рассуждения Тимофеев.

– Говорю, папа, он сознания терял.

– Так он же стоит?

– Зацепился шея на гвоздь. Видишь, дёргается.

Крепкие, чёрные руки сняли Точилина с гвоздя, кинули на диван. В продавленном ложе промаргивался безумный Артур. Они долго рассматривали склонившихся над ними чёрных людей, но не могли узнать в них Тимофеев.

– Перестарались, – констатировал один.

– Да, – соглашался другой.

– Ты – жестокий, папа.

– Жизнь такая, сынок.

– Зачем так друзьями? Нехорошо. Плохо. Им плохо.

– Чего они как тряпки?

– Этот в галстук ничего. Добрый человек.

– Жорик?

– Да. Почему Жорик? Он же Точилон?

– Да, этот ничего. Точилин. Жорик. Друг.

– Зачем так с другом? Напугал.

– Согласен. Перестарался. Знаешь, обиделся я на всех, сынок. Сильно обиделся. И разозлился.

– Понимаю. И на меня?

– И на тебя.

– Понимаю. Давно не писал. Электрон почты, факсы... Не для Раша. Эврисинг сакс!

– Что, сынок?

– Бул шит.

– Понятно.

Точилин шумно отдышался, словно проснулся. Опробовал голос. Не свой, но довольно зычный. И гаркнул:

– Вы что устроили, сволочи?!

– О, как?! – отпрянул бородатый Тимофей. – А ты говоришь, – помер! Живучий!

– Ожил. Да, – ответил Тима-сын, уселся напротив стола, на табурет.

Точилин сам не понял, это он так истерично, фальцетом выкрикнул или нет. Лежал на диване, полеживал безвольный, оцепеневший, отупевший, и молчал. Тупо смотрел на корыто, доверху наполненное мерцающей, вязкой жидкостью, что свисало прозрачными соплями с цинковых краёв корыта, в котором мыли младенцев в замшелых советских коммуналках. Поверхность застывающей жидкости отблескивала кроваво и холодно от двух огарков свечей, поставленных в эту же мягкую твердь.

– Что это? – спросил Точилин, приподнялся, чтобы разглядеть содержимое корыта, где раньше лежали куски великолепного тела Тамары.

– Мадам Тюссо, – беспечно ответил бородатый Тимофей.

– А-а-а... Воск, – с облегчением догадался Точилин.

– Воск, – подтвердил Лемков.

– Вы – безумцы, – прошептал Точилин, потрясённый диким спектаклем. – Разве можно так издеваться над друзьями?

– Папа, короший скульптор, – с уважением заявил чёрный Тима, правой рукой приобнял за плечи приёмного папашу, левой – приподнял наполненный водкой пластиковый стакан. – Давай, тебя, папа, уважать. Скульптором давай будешь, да? Сидуром станешь. Незвестным, Шемякиным. Не знаю, кто там ещё? Запад руками тебя оторвёт. Буду менеджер тебя продавать. Большой вилла на океан купишь. Жить будешь. Работать. Почему так живёте Раша плохо, – полная нищета?

– Поздно что-то менять, сынок, – ответил бородатый Тимофей, тоже приподнял над головой наполненный стакан. – Давай. Поехали. За тебя, сынок.

– Куда это поехали?! – заблажил вдруг Артур, судорожно задвигался всеми членами на продавленном ложе дивана, затем будто завод пружины у него кончился, так же внезапно затих, обмяк и прошептал:

– Поехали они! Щас пойду ментов звать. Самосуд устроили.

– Фу-у-уф! – вздохнул Точилин полной грудью одуряющий аромат горящих свечей.

– Отлегло...

Он потёр рукой грудь в области сердца, словно проснулся от собственных переживаний после чудовищного языческого представления, что устроили жестокие придурки, приёмный сын с отцом. Но злости или обиды в Точилине не было. Мозг его будто развернули и вынули из металлической фольги, что мешала шевелиться извилинам.

Он неестественно легко приподнялся, уселся, отвалился спиной на подушки дивана. Покачался на продавленных пружинах. Безвольно поболтал головёнкой на валике-подлокотнике безумный Артур. Его глаза, широко открытые, бессмысленным взглядом блуждали по облупленному потолку.

– Эх, Тимоний, Тимоний, – Точилин покачал укоризненно головой. – А если б инфаркт меня хватил? Дважды. В сортире твоём и сейчас...

– Прости, – прохрипел Лемков, протянул стаканчик с водкой. – Совсем у меня крыша съехала.

– Да, – подтвердил и ослепительно улыбнулся чернокожий Тима. – У папы крыша ехала сильно. Почему? Расскажи.

– Долгая история, сынок, – загрустил Тимофей.

– Хорошо. На месяц к тебе приехал. Расскажи, – улыбался в желтоватом мареве подвала белыми зубами Тима-сын. – От вы белые люди – ду-ра-ки! – воскликнул он. – Живёте Раша как таранти... таранканы! Сто, двести, триста... тысячу лет. Привет! Две тысячи лет живёте! А до Христа ещё сколько? Много тысяч! И всё-равно – бедный! Давай, ехать в Штаты! У меня там двести лет полный порядок. Почти двести. Были рабы. Теперь я – чёрный. Работаю. Деньги есть. Много. Дом есть. Машина есть. Девушка есть. Белый. Два. Даже три! – не в меру расхвастался Тима. – У вас ничего нет.

– Ты, сынок, в Америку перебрался? – удивился Тимофей.

– Давно, папа! Я письма писал! Деньги посылал. Большие.

– Деньги?! Большие?! – удручённо помотал головой Тимофей. – Не получал. Ни денег, сынок, ни писем. Не получал.

– Подадим суд на почта! – решительно заявил чёрный Тима. – Правда, Жорий? – он сильно хлопнул Точилина по плечу, отчего тот покачнулся и упал ухом на тугой живот Артура.

Бальзакер неожиданно резво выпрямился с разворотом и изверг залпом из глубин своего организма всё съеденное и выпитое содержимое на старшего Тимофея. На виновника номинального безумства и торжества.

Не стоит описывать вид уделанного Лемкова. Но оживший Точилин вдруг закатился задорным истеричным хохотом, с повизгиваниями и подвываниями. Следом заржал, топая

ногами и хлопая себя по коленям, ладонями чёрный Тима. Через минуту изумлённого созерцания загнулся от хохота и сам пострадавший.

Ягодкин, он же Бальзакер, покачиваясь, обошёл гогочущую компанию, поглядывая настороженно, как выздоравливающий на полных дебилов.

– Раздался венерический хохот, – хрипло заявил он, склонился над цинковым корытом, попытался зачерпнуть ладонями застывший воск. Поскреб ногтями глянцевую поверхность меж двух догорающих свечей, хмыкнул и озабоченно сказал:

– Во, блин. Она замёрзла.

Это вызвало новый приступ истерического смеха. Все трое хохотали до изнеможения, наблюдали сквозь слёзы, как близоруко приглядывался к содержимому корыта Бальзакер, пытаясь понять, что бы это могло быть.

– Не понял?! Холодец из тёлки сварили? – спросил он и взглянул в сторону заикающейся троицы. – М-м-м? Канибалы?

Точилин всхлипнул, присел на корточки и загнулся между собственных коленей. Смех выкашливался из него уже с натугой. Хрипели от смеха оба Тимофея. Наконец, они затихли. С минуту отдыхали, дышали, усиленно вентилируя лёгкие. Когда распрямились, увидели, что Артур лизнул языком поверхность застывшего воска, доверху наполненного корыта. Точилин, Лемков и чёрный Тима ответили долгим протяжным стоном. Но Артур решил добить их окончательно:

– Не понял? Такая свечка большая была? – спросил он.

Вместо смеха Точилин и Тимофеи заорали, завывали от восторга, затопали ногами. Чёрный Тима боком повалился с табуретки на пол, не собираясь беречь свою ослепительно белую рубашку. Бородатый Тимофей затих первым, тяжело нутряно икнул и поплёлся, шатаясь, в туалет, умываться. Но не дошёл. Его остановил удивлённый бодрый женский голос:

– У вас тут весело, как я слышу! Тима, я – за тобой. Собирайся.

Тимофея Лемкова, судя по разверзшемуся из его нутра мощному гакающему звуку, вывернуло наружу в дальний угол мастерской.

Миф-универсал

– Фу-у-у! – воскликнули тем же грудным женским голосом. – Как это мерзко и отвратительно! Опять нажрался, свинья!

Из сумрака мастерской к безобразной обеденной лавке, что выполняла роль стола и была загажена раздавленными кусками мокрого хлеба, завалена опрокинутыми пустыми бутылками из-под водки, увенчана огромным тазиком с капустной и прочей съедобной гадостью, освещённая тремя огарками расплывшихся свечей, подсвеченная огненными дырочками остывающего мангала с корытом, – вышла прекрасная в своей строгой красоте, необыкновенно изящная дама. В летнем брючном костюме цвета хаки. С тёмно-бордовыми волосами, туго собранными на затылке. Похудевшая, повзрослевшая до той чудесной черты молодой женщины, когда приходит одновременно всё: истинная острота ума, томление духа и красота тела, пусть даже в коварном образе обольстительной ведьмы. Это была она. Тамара.

Точилин не ожидал такой слабости от виновника нынешнего безобразия – Тимофея Лемкова. Будто снятое с вешалки тяжёлое, грязное пальто путевого обходчика далёкого железнодорожного полустанка, карманы которого набиты болтами и гайками, Лемков вдруг звучно рухнул за спиной Тамары на бетонный пол. Гостья брезгливо поддёрнула плечиками, искоса глянула на упавшего и спросила:

– Опять водку жрёте, алкаши? – и покачала укоризненно головой. – Ба-а-а! Знакомые все лица, рожи, морды.

– Кого, интересно, к лицам отнесли, – прохрипел Точилин. – Тебя что ли, Тим?

– Нав-верно, – отозвался чернокожий Тима. Он по-прежнему стоял на четвереньках на полу, затаил дыхание, чтобы сдержать судорожную икоту.

Артур безмолвно вернулся на диван, присел рядом с Точилиным, как совершенно посторонний гость, воспитанный человек, сложил руки на коленях, разгладил складки на своих потёртых дешёвых брючках.

– Что за вонюха у вас? – возмутилась Тамара. – Неужели нельзя проветрить помещение? Живёте как свиньи в хлеву!

Она говорила высокомерным тоном повелительницы.

– К вашему сведению, мадама, свиньи в хлеву не живут, – вежливо возразил Артур. – В хлеву живут овцы, козы и... козлы, – добавил он осторожно и совсем некстати.

– И бараны!! – продолжала воинствующая Тамара. – И даже свиньи так не живут! Ферштейн?!

Увидев, что Точилин, Ягодкин и негр в белой рубашке даже не пошевелились и никак не отреагировали на падение хозяина мастерской и на её возмущение, она повысила голос:

– Что сидите, как остолопы?! Поднимите товарища. Видите, – глубокий обморок у человека!

– О, господа, это наш Тима так низко пал, – фальцетом пропел Артур, заглянул под лавку.

Поднялся, наконец, с четверенек чёрный Тима, отряхнул стальные брюки. Он был красавцем этот плод трагической любви русской женщины и африканца. Высоченный, под два метра, стройный, как греческий атлет. От негроидной расы у него был только шоколадный цвет кожи и слегка приплюснутый нос. В остальном Тима являл собой великолепный человеческий образчик совершенства.

– Это ещё кто? – изумилась Тамара, чуть отступила, оглянувшись, будто только что поняла, в какой вертеп попала.

– Негр, – запросто ответил сам чёрный Тима. – Ты хорошо видишь глазами, белая женщина?

– Нормально, – испуганно прошептала Тамара. – Откуда негр?

– Фром Нью – Джерси, – пояснил Тима-сын, продолжая отряхиваться от пыли и грязи, налипшей на стальные брюки.

– Джерси? – переспросила Тамара, по чисто женской традиции делая ударение на «и». – Костюмчик из джерси? Ткань такая? Новый материал?

– Совсем из ума сошёл, белый женщина, да?! Какой материал! – возмутился Тима-сын. – Не знаешь, Нью – Джерси – Юнайтед Стайтс оф Амэрика?! Штат такой. Рядом – Нью-Йорк сити. Деревня!

– Нью – Йорк – деревня? Я и не знал, – негромко пробухтел так и не протрезвевший Артур. – Ни фиги! Нормально! Негр – из деревни, – и рассудил сам с собой. – Ну, что ж, если есть деревня Париж в российской глубинке, значит, найдётся и деревня Нью-Йорк.

– Оп-паньки! – восхитилась Тамара. – Откуда в этом вонючем подвале американцы?

– Не твоё дело, – отрезал Тима-сын, присел на табуретку. – Ты кто? Зачем здесь? – повернулся к Точилину и приказал:

– Жора, подними папу.

– Жора? – удивилась Тамара и проводила взглядом узнаваемую личность.

– Конечно-конечно, – с готовностью ответил Точилин, послушно отправился выполнять приказание. – Тимоша, вставай!

– Папу? – удивилась Тамара. – Точила, он сказал: папу?!

– Папу, – утвердительно качнул головой чернокожий Тима.

– Тогда я – твоя мама, – небрежно усмехнулась Тамара.

Не так-то просто было смутить негритянского Тиму.

– Пошла!.. Знаешь куда?! – грубо заявил он. – Мама нашлась. Такую маму имел на бао-бабе каждый день Африка. Висела на верёвка для гиен. Качалась. Как пришла, так и пошла – на фик! Фак ю!

– Пошёл сам! – не растерялась Тамара и показала негру средний палец левой руки. – Это – фак ю тебя!

– В жопу. Пошла, быстро! Обратно, на улицу – марш! Пришла тут. Мамана. Команды даёт. Палец показала и что? Не обидно. Показывай. Всё-равно. Мы тут папу оплакали. Думали, – умер. Он живой. Сидим, радость – пьём водка. Хорошо было. Пришла тут твар такой. Мы тебя в аду зажарили? Да, зажарили! Пришла тут. Такая вся... коза.

– Как оплакали? – ничего не понимала Тамара, отступила спиной к стене, озираясь вокруг, посматривала то на безжизненное тело Тимофея, то на Точилина и Артура. – Он что умирал? Тима умирал, да?! Наверное, я виновата.

– Наверное, – злобно пробурчал Точилин. – Хэ! Конечно, ты во всём и виновата!

– Умирал. Да! – один противостоял агрессии великолепной гостьи чёрный Тима. – Ты виновата, твар. Понятно. Да. Вижу, что ты. Больше никому!

Между тем Точилин склонился над распластанным на грязном бетонном полу телом Лемкова, но поднять друга не решался, потому что несло от него... не цветочками. В общем, понятно, чем могут пахнуть внутренности сильно выпивающего человека. Одновременно, Точилин не мог оторвать взгляда от великолепной в своём нынешнем облике Тамары. Она потрясающе выглядела. Эдакий симбиоз деловой женщины, дорогой шлюхи и базарной стервы.

Артур подошёл на помощь, ткнул загнувшегося Точилина легонько под зад коленом и проскользнул тенью в сортир. Точилин распрямился и замер. Зашевелился на полу Тимофей. Хрипя, отплеываясь, с трудом поднялся на четвереньки.

– Чё приперлась, стерва? – просипел он.

– Потрясающее ничтожество, – сощурилась Тамара, будто присматриваясь к явлению с того света. – Вы уже все тут спились окончательно.

– Что тебе ещё от меня нужно?! – напряжённо и членораздельно прохрипел Тимофей, встал на колени, выпрямил спину. В долгополом, растянутом своём, драном свитере, борода-

тый Лемков выглядел странником, нищим оборванцем, что встал на колени перед барыней в ожидании милостыни.

– От тебя ж несёт, как от помойного ведра! – злобно, истерично выкрикнула Тамара. – Посмотри, во что ты превратился?! Художник!

– Тебе какое дело?! – заорал Тимофей. – Всё выгребла и – проваливай!

– Для твоего же блага! – тихо сказала Тамара. – Для твоего же блага, Тимоша. Пойми меня!

– Для моего?! – заблажил Тимофей. – Для моего?! – и шагнул было одной ногой к женщине, но подняться со второго колена не смог. Тамара шарахнулась от него, стукнулась затылком о пустой стеллаж, отчего упал сверху одинокий глиняный горшочек и, жалобно хряснув, рассыпался у её ног.

– Тима, я всё сейчас объясню, – воскликнула Тамара.

– Мне? – изумился Тима-сын. – Не надо.

– Тебе надо... – продолжила Тамара, коротко и зло глянула в сторону чернокожего Тимы, мол, куда ты-то лезешь, и вновь обратилась к Тимофею Лемкову:

– ...надо сломать эту свою скотскую жизнь. Сломать враз и бесповоротно, как засохший сучок! – вдохновенно призывала Тамара и даже приложила руки к груди. Пальцы её блеснули перстнями и золотыми кольцами. – Соберись силами, Тима, соберись. Бросай всё. Поехали со мной. Начнём новую жизнь. Я всё устроила. Вот. Вот, – она принялась копаться в своей дамской сумочке. – Как же тут у вас темно! На улице солнце встает. Асфальт полили. Свежо, прохладно. У вас тут – могильная сырость, мрак, как в склепе. Смрад. Вот, – она протянула Тимофею бликующую карточку, размером с визитку.

– Что это? – спросил с неприязнью Тимофей, но принял карточку из рук бывшей возлюбленной.

– Часть твоих денег. Очень больших денег! Остальные на другом счету. Тоже на твое имя. Я почти ничего себе не взяла. Так – мизер, самую малость. Мы же будем жить вместе?! Да, Тима, вместе?! Ну, подумай, сколько тебе осталось, Тим? С твоей язвой, больными почками?! Только ради тебя я пошла на всё это. Только... только нам надо как можно быстрее уезжать отсюда. Бежать из Москвы. Как можно быстрее. Из страны. Ты будешь писать прекрасные картины на Монмартре. Я буду продавать их у Лувра или музея де Орсе. У нас будет своя галерея на улице де Крима. Мы станем богатыми людьми. Мы будем счастливы вместе, Тима!

– Сомнеvas, – заявил Тима-сын. – С такой мигера будет счастливый только дэвил. Вельзевул, да. Мефисто. О! Помню.

– Заткнись! Грамотный больно! – фыркнула Тамара. – Не с тобой разговаривают!

– Это ещё совсем не больно, – проворчал Тима-сын с тихой ненавистью к чрезмерно деловой женщине. – Больно – дальше будет.

– Что ты вдруг такая заботливая стала? Что ты сказала? – переспросил Тимофей. – Из страны? Ты сказала: из страны? Это что за ерунда? – он потряс перед лицом карточкой. – Визитка?!

– Не ерунда, – ответила Тамара, – это деньги, Тима.

– Разреши, посмотрю, – поднялся с табурета чернокожий Тима, взял из рук Тимофея-отца карточку, покрутил перед глазами. Он оказался очень рослым, этот приёмыш, на голову выше папаши. Значит, точно, где-то метр девяносто с гаком.

Тамара вдруг стремительно шагнула к нему и выдернула из его рук блестяшку.

– Дай сюда! – зашипела она. – Не трогай чужое! Ферштейн?!

– Кредитка, – небрежно сказал Тима-сын, дёрнул белыми плечами в ослепительной рубашке. – «Мастер-кард». А ты, змея, всё шипишь? Шипи-шип... Она не любит тебя, папа. Нет. Любит деньги. Только.

– Все любят деньги, – прошептала Тамара.

– Любят, – согласился Тима-сын, – не так сильно, – и обратился к молчаливым Точилину с Ягодкиным. – Ребьята, давай наводить порядок жилище. И – спать.

– Не выпускайте её, – неожиданно твердым голосом приказал Тимофей-старший. – Пойду, сполоснусь под душем, переоденусь. Тогда всё решим.

Чернокожий Тима тут же отошёл к выходу, перекрыл отступление великолепной Тамары. В чёрной гулоте подвала громко клацнула задвижка на входной двери. Хрумкнул запираемый на ключ замок.

– Дав-вайте обговорим, обсудим всё с-покойно, – с трудом выговорила, заикаясь, Тамара, напуганная таким неожиданным оборотом дел. Она мгновенно потеряла уверенность, стояла у стеллажа, сверкая изумительными глазами то на Артура, то на Точилина, то в темноту, где шуршал подошвами туфель чёрный Тима. Затем выплыл белый крест его раскинутых в стороны рук.

– Хода нет. Говорить будешь с папой, – раздался грозный голос Тимы-сына. – Они – гости. Он – хозяин.

– П-почему он называет Тиму папой, Точила? – прошипела Тамара в сторону Точилина.

– Потому что он – мой папа, – отозвался Тима-сын. – Помолчи женщина. Сейчас мы будем тебя судить. Мы жарили-жарили тебя аду. Но ты вернулся. Судить будем.

– Если решим её насиловать, – нагло заявил пьяный Артур, – тогда я – третий.

– Почему это?! Почему третий?! – возмутился Точилин, будто наглый Бальзакер сказал, что будет первым.

– Тимофей, на правах хозяина, – первый, – вполне трезво рассуждал пьяный Артур. – Негр никого, конечно, вперед не пропустит.

– Закричу! Позову на помощь, – прошептала в ужасе Тамара. – Расцарапаю вам рожи, уроды! Ферштейн?!

– Не будешь кричать, – твердо заявил чёрный Тима. – Будешь сидеть, молчать. Никто тебя не тронет, пока папа не скажет, – и подставил гостье под колени табурет. – Ферштейн ор андестенд? Садись, я сказал. Вот – кушай, водка есть. Пей.

Послышался шум льющейся воды в душе, и завывания Тимофея. Он распевал свой осипший голос:

– Хо-о-одят ко-о-они над реко-о-ою...

Похоже, с-покойный хозяин ковчега изгоев оживал для нового этапа жизни.

Сепаратные разговоры

Пока Лемков споласкивал своё брненное тело под душем, компания гостей не бездельничала. Артур прибирал со стола, сгребал с досок столешницы крышкой от банки остатки съестной массы в полиэтиленовый пакет. Точилин накидал на пол газет, хоть как-то прикрывая липкий, вонючий, бетонный пол. Мокрый костюм топорщился на обычно выглаженном, аккуратном ТочиLINE, будто картонный. Пришлось снять пиджак и галстук. Он остался в серой рубашке. Белой на похороны не нашлось. Чёрный Тима отнёс поближе к лестнице все пустые бутылки, подсветил себе зажигалкой и воскликнул:

– Есть водка?! О-о-о! Много водка?! Ящик?! Хорошо!

Принёс, поставил на лавку полную бутылку «Посольской» с винтом. С завинчивающейся пробкой.

Тамара так и стояла, вжавшись спиной в опустевший стеллаж, отчего напоминала носовую корабельную статую. Брючный костюмчик у неё был из тонкого, фактурного материала, соблазнительно облегал её рельефную фигурку. Чуть скуластое личико, с раскосыми татарскими глазами было бы очень милым, если бы его не коробила гримаса испуга, ненависти и злобы.

На обеденной лавке с неприхотливой снедью обходительным негром Тимой были культурно установлены три новые стеариновые свечи в стеклянных литровых банках из-под солений. Свечи красиво высветили изумрудное, баночное стекло и осветили убогое, опустевшее прибежище художников и бомжей, названной Лемковым «ковчегом изгоев» ещё во времена Олимпиады-80, когда власти выселяли из столицы за сто первый километр всех пьющих, бомжей и малоимущих.

Под самым потолком мастерской на дощатых ставнях узких окон едва обозначились солнечными лучами оранжевые щели. Мрачное цинковое корыто, доверху наполненное воском, по-прежнему громоздилось поверх шашлычного мангала посередине мастерской. Тамара иногда посматривала на это загадочное сооружение, пыталась определить, что бы это могло быть.

Когда прекратилось шипение воды в душе, Точилин, Ягодкин и Тима-сын втроём уселись на диван, приготовились к выходу главного прокуратора – Тимофея Лемкова. Тамара, как и положено осуждённой, осталась стоять.

Тимофей-старший вышел в залу в старом драном, махровом халате. Ожесточенно пошебуршил руками мокрые волосы под серым вафельным полотенцем. Ноги его шаркали по полу в кожаных сандалиях времен счастливого детства.

– Выкладывай всё, как есть, миф-универсал, – обратился он к неожиданной гостье, но даже не взглянул на неё, уселся верхом на табурет, с хрустом свернул головку с «Посольской» и разлил по четырём чистым пластиковым стаканчикам горячительную жидкость. – Какую подлянку ещё задумала?

Точилин глянул на Тамару, с горечью осознавая, что так и не смог разлюбить эту великолепную стерву. Он ожидал, что неожиданная гостья возмутится, возможно, прояснит, почему Тимофей небрежно называет её мифом-универсалом.

– Ладно, – неожиданно бодро ответила Тамара, точно так же уселась верхом на второй табурет, придвинулась к лавке. Лихо опрокинула в себя водку, налитую, вероятно, для Артура. Тот лишь похватал пальцами воздух. Точилин и чёрный Тима последовали примеру решительной женщины.

Тамара не отважилась закусить наваленной в тазик снедью, осевшим от выпитой водки голосом она заговорила:

– Мальчики, давайте прекратим балаган. Я обещала, что устрою тебе новую жизнь? – обратилась она к Тимофею-старшему. С полотенцем на голове, сгорбленный, жалкий, Лемков

выглядел как бедуин в чалме, что растерял всех своих верблюдов и засыхает в пустыне от жажды.

– Обещала, – продолжила она. – Я долго ждала твоего решения. Не дождалась. Тогда я поступила решительно и резко...

– Резко, – повторил Тима-сын, удивлённо хмыкнул. – Резко. Хорошо сказала. Запомню.

– Вместо того, чтоб твоему барахлу пылиться ещё тысячу лет, я его реализовала.

– Реализовала, – вторил ей Тима-сын. – Файн! – и шутливо пропел:

– Ай лайк ит! Мув ит, мув ит!⁸

– И представь, – Тамара зыркнула прекрасными, но злыми глазами в сторону чёрного Тимы, но обращалась к Лемкову. – Получилась очень приличная сумма, с которой ты сможешь начать совершенно новую жизнь.

– Сколько? – спросил с набитым ртом Тимофей.

– Коммерческая тайна, – понизив голос, ответила Тамара. – Скажу только тебе, Тима, тет-а-тет.

– Говори, – потребовал Тимофей. – От сына и друзей у меня тайн нет.

– Да, – ввернул оживший Артур. – У друзей нет тайн от друзей.

– Помолчи, – грозно потребовал Тима-сын.

– Не стоит озвучивать, – засомневалась Тамара, – это очень приличная сумма.

– Сколько? – настаивал Тимофей-старший.

– Ну, как хочешь, – проворчала Тамара. – Только на этой кредитке – сто десять тысяч с небольшим, – и она вновь выложила перед Тимофеем на лавку блестящую карточку.

– Долларов? – восторженно прошептал Точилин.

– Гривен! – огрызнулась Тамара. – Конечно, долларов, Точила. Ферштейн?!

– Заладила: ферштейн-ферштейн, – огрызнулся Точилин. – Слов других не выучила, фройля?! Нихт фирштейн!

– За всё? Сто десять?! – зловеще усмехнулся Тимофей.

– Ах, ты – оборвыш! – смело заблуждала вдруг Тамара. – Алкаш непросыхающий! У тебя в жизни больше червонца баксов на руках никогда не водилось! Что ты корчишь из себя Рокфеллера, идиот?!

– Вот оно – попёрло настоящим, смердящим, – тяжело вздохнул Тимофей. – Э-э, хе-хе. Миф-универсал, одно слово.

– Вот же – Раша! – прохрипел чёрный Тима. – Суманшешая страна! Рокфеллеры подвале сидят.

– Че тебя корёжит, рванина драная?! – продолжала злобствовать отважная Тамара. – Ты должен броситься мне на шею и умолять увезти отсюда! Тебя же лечить надо, облезлый! Ты скоро сдохнешь от пьянства и своих болячек!

– Заткнись, – спокойно попросил Лемков.

– Да, – поддержал Тима-сын. – Замолкни, женщина. Что разоралась, не знаю, как... кондуктор?! Есть ещё Москва кондукторы автобусы, нет, а, Жора?

– Послушай, – продолжил Лемков, низко наклонился к сведенным коленям некогда любимой женщины, но прикоснуться руками не посмел. – Одна картина в золоченой раме, что ты спёрла, потянет на поллимона гринов. Это в первом прикиде. И не на аукционе. Ведь это – подлинник.

– Отдала через посредника за сотню. Поторопилась, знаю, – попыталась оправдаться Тамара. – Но ты же сказал: это копия, что ни один эксперт не докопается, что подделка!

– Ты – полная дура! – злобно прошипел Лемков. – Я сказал: копия, чтоб ты губы не сильно раскатывала! Это был подлинник. Чужой. Я должен был сделать копию. Не успел. Теперь мне

⁸ – Прелестно! Я в восторге! Двигайся, двигайся, – вольный перевод с английского – автора.

башку оторвут и закопают. Дальше, – он остановил жестом Тамару, которая выпрямилась на табурете для решительного объяснения. – Ты унесла все мои копии: Коровина, Репина, Дейнеки, Петрова-Водкина...

– О! Водкина! – воскликнул ословелый Артур и будто ожил для радостей жизни. – Налейте водкина, друзья! Не стесняйся, пьяница, носа своего, он ведь с нашим знаменем цвета одного! – процитировал он «нетленки» Губермана.

– Заткнись! – потребовал чёрный Тима. – Папа говорит.

– А мои картины? Куда дела мои картины?! – встряхнул полотенцем на голове Тимофей.

– Сдала в банк, на ответственное хранение. Мои друзья, по первому нашему требованию, переправят их в любую галерею Европы, – ответила Тамара.

– По-нашему? – возмутился Лемков. – Нашему?

– Да. Нужны две подписи под заверение нотариуса, – тихо и терпеливо пояснила Тамара. – Твоя и моя.

– А я тебе разрешал всё это, – Лемков махнул рукой в сторону двери, – выносить?!

Тамара смиренно склонила голову.

– Ты бы никогда не разрешил и... подох бы от пьянства в своем вонючем подвале! – воскликнула она. По её щекам покатились крупные... восковые слезы.

Точилин удивленно глянул на корыто с воском, поверхность которого затуманилась и теперь действительно напоминала холодец, сваренный из свиных ножек.

– Что ж теперь?! – всхлинула Тамара. – Что?! Ну, убейте меня!

– Папа тебя резал куски, – усмехнулся Тима-сын. – Мы тебя пожарили, отправили в ад. Прощай.

– Что ты несёшь, ниг-гер? – злобно фыркнула слюнями Тамара на всю благообразную троицу, чинно сидевшую на диване.

– За нигера ударю даже белую женщину, – грозно проворчал чёрный Тима.

– Давай, – смело сказала Тамара и выпрямилась.

Тима-сын коротко взмахнул длинной рукой. Клацнули зубы. Лицо молодой женщины завесилось растрепавшимися волосами. Цокнула о цемент пола отлетевшая, тяжёлая заколка. Тамара медленно вернулась в исходную позицию, повернувшись к ошалевшим зрителям на табурете всем телом, долго и злобно смотрела на чёрного Тиму, сверкая белками глаз сквозь завесу чёрных блестящих волос.

– Ты мне за всё ответишь, негр, – злобно прошипела Тамара.

– Негр – это хорошо, – согласился Тима-сын и заложил ногу на ногу. – Давай, рассказывай, как ограбила моего папу. Рассказывай. Я буду слушать, потом советовать, как с тобой поступать, наглая женщина. Своровала всё. Пришла. Сидит, за-ра-за. Ругается еще. Папа чуть не умер. Написал записку. Я летел из Европа. Один день делал визу через амэрикэн посольство в Германия. Разрыв сердца получил. Папа тут лежит свеча руке. За что ты довела папу? Отвечай.

После хлесткой пощечины Лемков, Точилин и Ягодкин остались потрясены решительным поступком чёрного Тимы, но никто не посмел комментировать.

– Убьём её? – спросил Тима-сын всю компанию. – Разрежем куски, пожарим корыто? Репетиция был, да?!

Нарушил, как говорится затасканным литературным штампом, повисшую зловещую тишину, сам болезненный Лемков. Он хрипло откашлялся, кротко взглянул из-под чалмы полотенца на приёмного сына и попросил:

– Не надо, сынок. Грех это.

– В Америка я грохнул бы эта женщина, не задумался. Бросил труп Гудзон и плыви себе Раша.

Чёрный Тима зловеще помолчал, потом широко улыбнулся, сообразил, видимо, что изрядно всех напугал, сказал:

– Шутка, – и задорно рассмеялся.

Точилин с Ягодкиным задвигались, заёрзали задницами на колких пружинах продавленного дивана, облегченно похмыкали.

Царственным жестом усталой матроны Тамара убрала с лица блестящие пряди волос.

– Понятно. Шутники собрались. Давайте думать, придурки, что дальше делать, – устало предложила она.

– За придурков точно глаз дам! – обозлился уже серьёзно чёрный демон Тима и приподнялся, навис над велико-лепной женщиной. – Держит нас за придурков, стерва! Отдай папе всё! Картины, деньги и – вали! Куда хочешь, с кем хочешь.

– А если захочу с тобой, негр, – неожиданно смело заявила Тамара. – Поедешь?

– С тобой?! – презрительно прищурился Тима. – Твар! Никогда! Я лучше с улица за сто долларз сниму девушка, воспитывать буду, в Америка увезу. Но с тобой, стерьва и продажная простытутка, – никогда!

– На том и порешим, – устало согласилась Тамара. – Кончайте валять комедию. Расходитесь. Нам надо с Тимошей потолковать наедине. Послезавтра утром мы улетаем через Афины в... Не важно. Улетаем в другой мир. В другую жизнь. Все свободны, господа. Паспорта, визы... я всё сделала, Тима. Вот твой паспорт, – она выложила потрёпанную красную книжицу Лемкова, старый его, зарубежный паспорт на обеденную лавку. – Собирать тебя – только умыть. Всё. Повторяю: все свободны! Переговоры окончены. Сейчас, – она глянула на золотые часики на своём запястье, – почти десять. Полчасика разрешаю надо мной издеваться. Морально. Потом подъедут мои ребятки и рассчитаются с вами сполна. С каждым. С тобой негр – особый расчёт!

– Плевал я на твоих ребяток! – ответил Тима-сын. – Убьем её сейчас, папа! Такой наглый женщина! Одурьеваю!

– Не стои́т о неё мараться, сынок, – вяло возразил Лемков.

– Вот! – вскрикнула Тамара и вытянула над лавкой кулачок с зажатым мобильным телефоном. – Уже вызвала ребят. Будут с минуты на минуту. Они знают, где я!

Чернокожий Тима мгновенно перехватил её руку и выдернул синий телефончик с короткой антеннкой. Глянул на дисплей, повернув к банке со свечой, хмыкнул.

– Врёт эта женщина! Всё врёт, – вздохнул он. – Нет сети. Не достаёт в этом подвале твой «Сименс». Не достаёт. – Он вынул из внутреннего кармана пиджака крохотный сотовый, откинул крышечку, пикинул по клавишам. – «Моторола» – другое дело! Работает. Чёрную братву позвать с Лумумба? С универа, а? Водку попьем вместе твое здоровье, папа. Что будем делать? Говори.

– Сваливать, – коротко ответил Тимофей.

Стуки

Компания за импровизированным столом шевельнуться не успела, как эхом по подвалу раздался грохот. Кто-то колотился с улицы в железную дверь.

– Начинаются... туки-стуки, – проворчал Точилин.

– Кто там колотится до моего помещения? – тихо пошутил жалкий Артур. – Может, на похороны кто пожаловал?

– Какие похороны? – возмутился Точилин. – Что ты несёшь, Бальзакер?!

– Открытки получили, вот и пришли, – размышлял Артур.

– С ЖЭКа, – прохрипел Лемков. – Или с РЭУ, как там нынче жилконторы называются? С милицией пришли. Опечатывать будут. Выселяют.

Удивительно, но Тамара безмолвствовала. Она сидела, напряжённая, ужасающая своей дикой красотой, и молчала. Глаза Точилина магнитом притягивались к глубокому декольте её кофточки.

– Открываем? – предложил Тима-сын.

– Сидим, – приказал Тимофей-отец. – Ждём.

В железную дверь продолжали гулко дубасить кулаками. Раздался шум шагов по гравию возле заколоченных амбразур подвальных оконеч. Сиплым, мужским голосом с улицы заявили совсем рядом со ставнями:

– Там они сидят, сурки, там. Решётки навесили, суки.

– Ломать будем? – уточнили вкрадчивым голосом.

– А менты подвоят? – возразили сиплым. – Ждём.

– Бандосы, – спокойно сказал Тима-сын. – Пришли.

Все посмотрели на неподвижную Тамару. Она молчала.

– Молчишь, женщина? – спросил Тима-сын. – Сейчас говорить надо. Ты – молчишь. Кто пришёл? Зачьём пришёл? Зовьём чёрных братьев? А? Папа? Зовём? Драка устроим! Стрелять будем! – и чёрный Тима решительно поддёрнул рукав рубашки, поднёс мобильный телефон к уху. Но Точилин отметил, что когда великолепный, приёмный сын Тимофея Лемкова и Африки нервничает, он смягчает слова мягкими знаками «зачьём», «будем» и тому подобное.

– погоди, Тим, – прохрипел Тимофей. – Сначала разберёмся кто есть кто и зачем. А уж потом...

– Давай, – согласился Тима-сын, устало зевнул. – Спать хочу, как звер. Глаза слип... слипают.

Точилин продышался, вспомнив, что уже давно никак не участвовал в действии, и мужественно спросил:

– Что, подруга, тебе есть что сказать?

– Тебе, Точила? Тебе – нет, – ответила великолепная в своей независимости стерва. – С тобой жалкий интель страница выдрана из жизни давным-давно и сожжена.

– Нормально, – проворчал Точилин. – Типа, уела.

– Точно. Бандиты. За картиной пришли, – подал голос из-под полотенца сгорбленный Тимофей. – Я Марику признался, что спёрли полотно и копию. Вот, пришли. Будут ставить на бабки. Счётчик включать.

– Такси что ли? Не понял?! – возразил чёрный Тима. – Щас выйду, поставлю счётчик. Раком.

– У них стволы, сынок, – просипел Тимофей. – Стрелять будут. Убьют. К маме не ходи.

– К маме?! Что у вас Раша творится?! – возмутился Тима-сын. – Беспредель такой! В Бруклине, в Гарлеме такого нет. Не-е-ет. Белого пинаем, морда набьём, не заходи куда нельзя, где чёрный зона. А здесь? Везде застрелят, взорвут. Милиция спит.

– В штаны наложил, да, негр? – злобно прошипела осмелевшая Тамара. – Здесь вам не там.

– Молчи, женщина, – вежливо попросил Тима-сын. – Ты смотрела мои штаны? Если б смотрела, нежная стала, спать со мной захотела. А я хочу спать один. Сильно хочу. Устал. Европа летел. Два... две сутки. Эапорт ехал. Здесь сидел ночь. Водка пил. Радовался: папа жив. Твой кукла жарил.

– Какой кукла? Что ты мелешь? – фыркнула Тамара.

– Красивый!.. очень красивый кукла в куски. Папа лепил. Он скульптор хороший, да. Любил тебя, зараза! – возмутился Тима-сын. – За что? За что тебя любить, паразитку?!

– А ну, открывай! – рывкнули с улицы у окна, пнули в доски ставень. – Кто там базарит?! Открывай!

– Пошёл в жопу! – выкрикнул Тима-сын. – Щас братву чёрную с Лумумба позову, сразу голубым станешь!

– Что ты там вякнул, урод?! – завyli приבלатнённым тенорком. – А ну, открывай, козлина!

– А ну кто такой?! Скажи! – заводился чёрный Тима, подпрыгнул, встряхнув Артура с Точиным на пружинах дивана, принялся прохаживаться под задраенными наглухо окнами. – Кого представляешь там? Солнцева?! Подольски?! Чечены?! Отзовись, козлина! Забивай стрелка на вечер. Я таких чёрных орлов приведу, дышать перестанешь!

– Во, наехал, – хохотнули сиплым голосом за окном. – Чё скажешь, Колян?

– Чё скажу, чё скажу, – засомневались тенорком. – Айда, подтащим ребят, посмотрим, кто там базарит.

– Подтащит он, дохлых, – наливался злобой Тима-сын.

– Выходи, брат, потолкуем по понятиям, – предложили сиплым голосом.

– С понятиями он пришёл. Спокойно говори, да. Отойди к песочница, чтоб видел всех, – заявил Тима и вполголоса добавил для Точилина, как наиболее вменяемого, спокойного и рассудительного, – закроешь дверь засов. Понял, Жорий?

– Есть, – мотнул головой Точилин.

– Без базара, – ответили со двора сиплым голосом. – Выходи, братан.

– Белый козёл тебе братан, – злобно сплюнул чернокожий Тима через зубы себе под ноги, вполне по-русски, по-уркагански.

Точилин поплёлся за Тимой-сыном вверх по лестнице. Хрустнул отпираемый ключом замок, но прежде чем грохнул засов, Тима-негр глянул в дырку и сказал:

– Отошли к песочница, я сказал! Выхожу. Раз, два...

На «три» он клацнул засовом и вынырнул за дверь. Точилин задохнулся на мгновение от одуряющей свежести воздуха, пахнувшей в затхлый подвал со двора, оглох от неистового щебета птиц, машинально закрыл дверь, защёлкнул на засов.

Точилин не помнил, сколько прошло времени, показалось, что совсем мало, минута-две, как раздался культурный стук в железо костяшками пальцев. Стучался чёрный Тима. Его развёрнутые розовые губы он увидел в прожжённую дырку «глазка».

Впустил Тиму в подвал. Запер дверь.

– Что? Всё? Договорился? – с облегчением выдохнул Точилин.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.